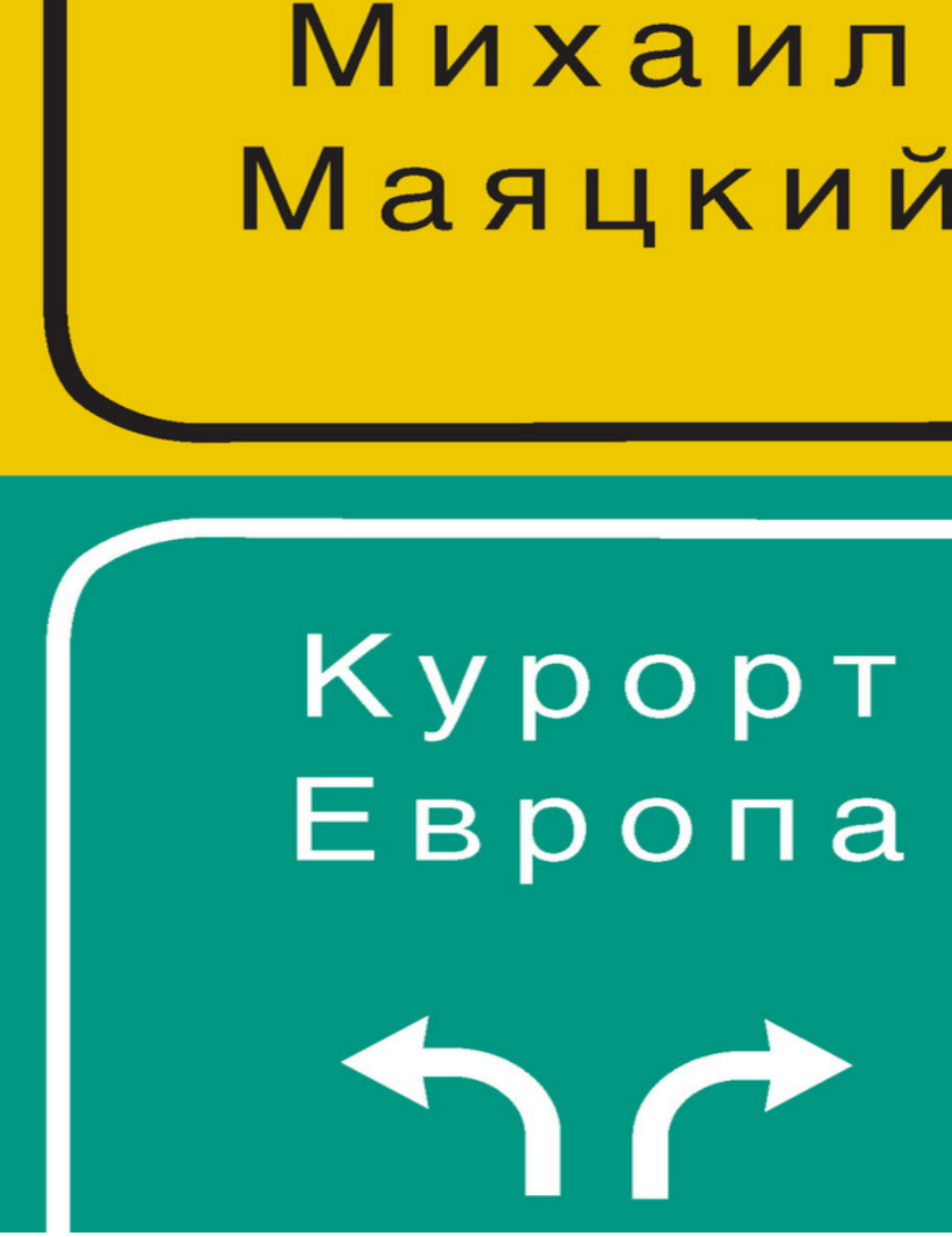
Михаил
Маяцкий
Курорт
Европа

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Философ и публицист Михаил Маяцкий последние 15 лет живет и работает в Швейцарии и Франции. Его новая книга эссе посвящена переменам, которые на наших глазах происходят в Европе, где на смену индустриальной эре пришла эпоха, названная автором «курортной». Свободное время, «забота о себе» и культ туризма – вот те новые ценности европейцев, что пришли на смену трудовой этике классического капитализма и грозят превратить Европу одновременно в огромный музей и санаторий.

- Михаил Маяцкий
  - Заслуженный отдых стареющей цивилизации
  - После цунами
  - Сумерки в полдень
  - Good-bye, homo faber?
  - Пролетарии! Соединяйтесь против пролетариев всех стран!
  - Стар, очень стар, суперстар
  - Цивилизация времени, которого не хватает
  - Девять секунд
  - Долго ли придется есть пирожные?
  - Мы, греки
  - Умножая скорбь
  - Рево – плаво: как регко пелепутать
  - Калечимся и лечимся
  - Dialectica Balnearia
  - Глас индийских богов
  - Повод пофилософствовать «Молотовым»
  - Aviator mundi
  - Континент любителей
  - Ангел истории в отпуске

Михаил Маяцкий
Курорт Европа

Заслуженный отдых стареющей цивилизации

Великий и спорный русский этно-гео-историософ предлагал провести границу между Европой и Азией не по произвольному Уральскому хребту и еще более произвольным южным горам и степям, а согласно строго определенному критерию: по изотерме января. Там, где она выше ноля, будет Европа, где ниже – Азия. Совершенно случайно эта грань практически совпадает с восточной границей Польши.

Сходным образом напрашивается другой критерий, позволяющий различить два мира, граница между которыми, правда, исторически подвижна: мир индустриальный и тот специфический постиндустриальный мир, который мы назовем здесь курортным, или бальнео-культурным. Таким критерием мог бы послужить вопрос типа: «Готовы ли вы работать в течение десяти лет по 12 часов в сутки семь дней в неделю, если такая работа гарантирует благополучие ваших детей?» Сообщество, которое бы ответило более чем на 50 % положительно на этот вопрос, принадлежало бы к индустриальному миру, менее чем на 50 % – к миру курортному. Позволю себе гипотезу, что современные Китай, Индия и Бразилия ответят на этот вопрос в большинстве своем положительно, а все западноевропейские страны – отрицательно.

Сегодняшняя Европа представляет себя то цивилизацией европейских ценностей (дискурс официальный, хотя и несколько тавтологичный), то альтернативным геополитическим полюсом, призванным уравновесить всесильную Америку (дискурс некогда скрытный, почти секретный, но теперь все более явный). В первой версии ставится задача глобализироваться гуманно, «социально», красиво, словом, по-европейски. Во второй, более честной, версии, как это часто случается, конкуренция с соперником строится по его же законам. Альтернатива мыслится в значительной степени как попытка «догнать и перегнать», двигаясь, собственно, по тому же пути. Общественности этот путь подают так или иначе как путь производственный, а соревнование – как прежде всего производственное, будь то материальное или финансово-виртуальное. Политический дискурс новой единой Европы собирается по прошлым рецептам: главными компонентами в них служат по-прежнему труд и капитал, которые в гармоничном алхимическом взаимодействии дадут в результате философский камень благоденствия. Рецепты

разнятся, но всем им общо сокрытие одной страшной тайны, заключающейся в том, что Европа сместилась и продолжает смещаться на периферию мирового производства. Тайной для европейцев этот секрет Полишинеля смог оказаться только потому, что в течение нескольких веков они были избалованы центральным положением Европы, и не готовы теперь, на исходе этой эпохи, новую свою провинциальность – и себя как периферию – принять и помыслить.

Самые яркие симптомы такой периферизации – это, конечно, восхождение новых звезд мирового хозяйства (вышеупомянутые Китай, Индия и Бразилия, взятые в единстве с их мегарегионами) и географический «аутсорсинг», или «делокализация», то есть экспорт индустрии в страны второго и третьего мира. Сырьевые, нефтяные, продовольственные войны еще впереди, но сделать делокализацию козырем в игре вынуждены, кажется, уже все европейские политические силы. Однако проблемы эти решаются и медийно представляются лишь в их сиюминутности, без попытки увидеть их в широкой перспективе и долговременной логике.

Какой будет Европа завтра? Что бы ни мнили – или делали вид, что мнят – политики, какой бы новый подъем они ни сулили избирателям, она наверняка не станет снова индустриальной. Она будет, скорее, тем, чем в тенденции является уже сегодня, – природно-культурным курортом. Путь Европы очерчен: от «Прометея» через «Фауста» к «Курортнику» (аллергичным к Гессе можно предложить «Волшебную гору» Томаса Манна или «Маленьких лошадок из Тарквинии» Маргарит Дюрас).

Наш прогноз – не диагноз, но здоровью Европы не повредило бы яснее увидеть направление своего движения, признать достижение некоторых своих целей невозможным, а сами цели – мнимыми. Понять и принять светлое курортное будущее сулит Европе отнюдь не почивание на лаврах или на пляжном песочке. Напротив, она должна будет принять вызов жестокой конкуренции в этой (впрочем, не совсем новой для нее) отрасли, признать которую основной ей пока не позволяет ее историческое высокомерие. В китайцах она видит лишь текстильных конкурентов, а не спасительных потенциальных туристов.

У Европы, впрочем, хорошие шансы. Ее будущее представляется обеспеченным, пусть и по-скромному: в год хватит, пожалуй, и пары десятков миллионов курортников, ностальгиков по культуре, ценителей сплина и поклонников несвоевременного, чтобы заполнить ее декадентские гостиницы, где вас помнят с позапрошлого года, и кафе, где читаются газеты и пишутся книги, ее старомодные университеты, в которых еще

на полном серьезе преподают Humanities, и ее альпийские хижины с их спартанским уютом, ее замки, спасающие от суеты городов лучше, чем некогда от нападений сарацинов, и ее театры, где ежевечерне оглашается окончательная истина мира.

После цунами

Можете назвать это поздним зажиганием, а можете – силой заднего ума: бунты длились уже без малого неделю, когда 1 ноября 2005 года французское правительство объявило переход страны на зимний режим. Чтобы не было, как в прошлом году, когда люди померзли. Теперь ночлежки готовы в срок принять продрогших бродяг. Социальные службы мобилизованы на спасение обмороженных. Шерстяные одеяла, крем для растирания, горячий суп и чай – всё на месте. Да вот незадача: на дворе плюс двадцать. Постелили не там, куда упало. Потому что молодежь пригородов, ободренная не по сезону теплыми и сухими ночами, ответила на «провокацию» (смерть двух подростков, которым, вероятно, не объяснили – или они не поняли, – что такое трансформатор) двумя неделями волнений.

Необычный метеорологический календарь наложился на обычный политический. С сентябрем во Францию приходят «возобновления», так называемые rentrées – политическое, школьное, издательское… И в том числе – социальное: возобновление социального протеста. Отдохнувшие профсоюзные работники мобилизуют ярость масс. Этот год исключением не был. В Марселе, например, 33 дня не ходили городские автобусы. Но этого толком никто не заметил (кроме марсельцев, разумеется) из-за факелов в парижских, а потом и не только парижских пригородах. Остальное вы знаете.

Машины жгут во Франции каждый год, но в этом году с неожиданным размахом. Оговорюсь, что ваш покорный слуга знает о волнениях только понаслышке, т. е. как и вы, благодаря медиа. Живя в Бельвиле (а это все-таки самый этнически пестрый квартал в Европе), я не только ничего не видел, но не видел даже и людей, которые бы сами что-то видели. Париж не впустил проблемы через городской порог.

Всем хочется пришить этим волнениям политику. И самым сознательным бунтарям, и политикам, которые хотели бы свести конфликт к знакомой межпартийной конфронтации. А политики нету. Бунтарям на нее чихать. Им от 10 до 20 лет. Для многих из них – это зачетный такой game-boy в натуре. Они жгут машины таких же бедных соседей. Через сайты переписываются друг с другом: «Вы сколько машин пожгли? Тю!! Всего-то? Следите за новостями: мы вас этой ночью сделаем!» Крайне правые поспешили объявить гражданскую войну. Для них в любом случае она, в холодно-ползучем виде, никогда и не прекращалась: клэш цивилизаций, война миров, битва рас. А тут вспыхнуло. Газеты

всего мира тем охотнее приняли тезис о гражданской войне, что Франция успела всем надоесть своими политнравоучительными уроками. Donneuse de leçons, как называют ее сами французы.

«И это – курорт?!» – изумится иной читатель.

Но разве после цунами курорт может перепрофилироваться в некурорт? И разве на настоящих курортах так уж и нет классовой борьбы?

Социальное цунами обрушилось не вдруг. Вряд ли его можно было предотвратить. Предвидеть – пожалуй. Но для этого нужно было хотя бы признать, что к 1990-м годам отшумели не просто Trente Glorieuses, тридцать лет бурного роста и относительного благоденствия, а пришла к концу, и к концу окончательному, индустриальная эпоха. В многочисленных дебатах по поводу бунтов все указывают на корень зла, на безработицу, и никто – на то, что это уже навсегда.

Политика этим бунтам пришита изначально, но с другой стороны. Бунтующие пригороды не выросли стихийно, как слободы при средневековых городах, а были политически задуманы, экономически рассчитаны, урбанистически спланированы и построены как место обитания рабочего класса. Обслуживаемые им заводы переживали в это время бум, которому, казалось, конца не будет. Индустрия созвала рабочих – не только из бывших колоний, но и из сельской местности – больше, чем смогла переварить. Далее все произошло очень быстро. Родители бунтующей сегодня молодежи пережили и подъем, и спад. Они впитали сначала мечту, а потом разочарование, и дети наследовали уже только обманутую надежду. Они считают себя французами, а их дети французами только считаются. Нюанс…

Государство, не будучи способно признать ошибку в расчете, по наступлении застигшего его врасплох конца индустриальной эры, постепенно ретировалось из этих бывших пролетарских пригородов. В эпоху промышленного расцвета социализацию рабочих окраин фактически взяли на себя коммунисты. До самого кризиса партии, который был необходимым следствием кризиса пролетариата. Однако целое поколение французов (читай: выходцев издалека, заключивших пакт с республикой) обязано «путевкой в жизнь» мэрам-коммунистам своих пригородов. Коммунисты стали и первыми жертвами: их наказали за то, что их утопия удалялась, вместо того чтобы приближаться. Перед лицом нарастающей люмпенизации коммунисты сначала потеряли голоса, а потом и вовсе покинули пригороды. Постепенно там затихли голоса профсоюзных и иных левых активистов. Кто занял их место? Имамы, каиды и «старшие

братья».

Сегодня уже бесполезно выяснять, кто первым расторг «республиканский пакт» – государство или забытые им граждане. Многие из пригородных гетто оказались де-факто вне закона: там невозможно произвести арест, обыск и другие акты, входящие обычно в компетенцию государства. Это, впрочем, не ново во французской истории. До самой Первой мировой войны пролетарские окраины – они тогда находились отчасти в черте города – кишели криминалом, в том числе организованным в банды. Отличие в том, что теперь само государство стало восприниматься как одна из враждебных банд, а раз так: не моги показаться в моем дворе! Чево?? Сам шпана!

Правые действительно особенно бездарно решали в последние годы проблемы пригородов, поспешив отменить или обессмыслить робкие меры социалистического правительства, стимулирующие занятость молодежи (emplois jeunes), и квартальную полицию (police de proximité), которая больше работала на профилактику, чем на репрессию. Но готовой политики нет и у левых.

Самое частое слово в дебатах во французских газетах, на радио, на ТВ – «лицемерие». А можно выразиться и позитивно – «верность идеалам». И граждане, и политики божатся на «республиканских ценностях», но забывают, что вера в ценности не всесильна и что конъюнктура может стать такой, что никакое выполнение элементарного республиканского социального минимума не будет возможно. Интеграция возможна при 9 % и невозможна при 20 % безработицы. Между тем реальная безработица в некоторых социо-территориальных категориях населения достигает 50 %!

Интеграция трудна, если в классе 100 % детей иммигрантов, но абсолютно невозможна, когда эти 100 % унаследовали и крепко усвоили от своей семейно-социальной среды ощущение полного тупика. Знание из жизненного шанса превращается в инструмент унижения и насилия. Вот почему наряду с машинами, автобусами, полицейскими участками, магазинами, фирмами, жгли и школы: за то, что школа из гарантии интеграции и равенства шансов стала машиной умножения и закрепления неравенства. Достаточно закончить пригородную школу – и независимо от твоих оценок, успехов, способностей само упоминание ее в твоей трудовой автобиографии становится несмываемым позором.

Выпрыгнуть из колеи можно только оказавшись по ту сторону, на экране телереальности. Если не в Star Academy («Фабрика звезд» – ее аналог в России), то танцуя вокруг факелов.

Так был воспринят и приход в кварталы медиа. «Общество не понимало наш «верлан», нашу перевернутую речь, так поймет горящие машины». Журналисты без камер шли за третий сорт. Развернулось соревнование между юнцами и журналистами: мы подожжем, а вы покажете. Кто снимет зрелищнее? Кто скажет резче? Чья картинка шокирует больше? Сенсация удалась. К счастью, число жертв оказалось минимальным: погиб один человек. Для сравнения: за октябрь в автодорожных происшествиях в той же Франции погибли 453 человека.

Цунами французских агломераций – не полное, а частичное поражение «французской социальной модели». Было бы странно отбрасывать ее из-за сотни-другой озлобленных малолетних парий. Плюсы этой модели, ее успехи неоспоримы. Но она была выточена под мир, который исчезает на наших глазах.

Сумерки в полдень

Подпарижские волнения – давно зревший нарыв социального воспаления – утихают, если судить по тому, что количество сожженных машин по стране постепенно приближается к обычному, а именно к 90 автомобилям за ночь. Именно такова среднестатистическая французская «норма». Не угасает, однако, энтузиазм, с которым парижская публика ищет разгадку своего куда менее излечимого недомогания, которое, быть может, не так уж чуждо и пригородной молодежи: предмет неослабевающего интереса парижан и гостей столицы, великолепная выставка в Большом дворце (Grand Palais), посвящена меланхолии.

Сладкий недуг этот родился вместе с европейской цивилизацией и продолжает преследовать, донимать, очаровывать, гипнотизировать ее через века, меняя маски и имена. То, в чем Гиппократ видел доминанту характера, отцами церкви было объявлено грехом (ацедия, уныние), потом стало лечиться как душевная болезнь, чтобы затем возвыситься до источника вдохновения, доказательства дара, а – при его отсутствии – жизненной и художественной позы. Наконец, в нынешней фазе цивилизационного угасания оно опять низведено до болезни, но уже не душевной, а соматической. Привесок «психо» здесь уже в пользу бедных. Души нет и в ближайшее время не завезут. Современные когнитивные науки сулят положить фармацевтический конец этому вековому бедствию (переименованному в депрессию), а заодно и доисторическому шаманизму – лечению души без воздействия на «субстрат». Нет души, нет и душевных заболеваний. И разве Томас Манн не назвал психоанализ «разновидностью меланхолического знания»? Однако уже за век до Фрейда (и Карла Абрахама) романтики увидели в меланхолии не только бич, но и средство – пусть и заведомо бесполезное – против надвигающейся эры европейской и мировой цивилизации. Так болезнь или лекарство?

У истока меланхолии – ощущение тщеты и хрупкости существования, суеты сует, преходящести всего сущего. Скорбь по – еще – живому, по – еще – существующему. Ее невозможно смягчить, к ней нельзя заранее подготовиться, например, простым удалением от близких существ, от земного и эфемерного быта. Попробовавшие было это средство первые христианские монахи (дело происходит в III в. н. э.) встретили описанного Гиппократом демона черной желчи в египетских и сирийских пустынях. Меланхолическая двойственность на века приклеилась к самому монашескому состоянию: оно по задаче призвано бороться с

соблазнами, но оно же и к ним располагает. В пустыне ли, в келье ли – везде монаха поджидает отвращение к месту, где он находится, к себе, безразличие, угасание рвения, а там и веры. Это состояние особенно часто подстерегает на шестом часу монастырского распорядка дня, в полдень. Солнце и время остановились, движение невозможно, немыслимо.

От этой усталости нельзя отдохнуть, потому что сам отдых есть бездеятельность, праздность, лень, будь то рук или сердца (или лень кишечная, как, не без элегантности, именовался запор). В широтах, удаленных от средиземноморского полуденного зноя, оцепенение духа может сопровождаться не оцепенением тела, а, наоборот, «неусидчивостью духа», бессмысленной тягой к перемене мест и к бурной деятельности. Так же и печаль – вовсе не обязательный спутник меланхолии: ренессансный топос противопоставляет плачущего Гераклита смеющемуся Демокриту. Однако именно Демокрита – этого патрона будущих когнитивистов – настигает меланхолия, тайну которой он, собственно, хотел постичь. Он изображается сидящим, устало подперев щеку рукой, в окружении скелетов и туш животных, самолично разделанных в безрезультатном поиске источника зловредной черной желчи.

Иконография меланхолии подчеркивает двойственность, выбирая образы неустойчивые: осень, сумерки, оборотень. Меланхолик двуличен, в маниакальности не опознать депрессивности, и наоборот. За человеком скрывается волк, и в конце концов волк съедает человека. Волку или Сатурну (другому тотему меланхолии) особенно по вкусу дети: символ бессилия родителей перед пожирающим их потомство монстром меланхолии. Среди масок монстра – и не лишенный позы taedium vitae, и манерный английский сплин, и слезливый немецкий Weh– или Schwermut, и безалаберная русская хандра, и saudade, мечта о прошлом и воспоминание о будущем. Здесь и сидение на игле и/или на обочине общества.

Гойя истолковал меланхолию как лик цивилизации, самовольно идущей вразнос, либо отправляющей своих детей на бессмысленное съедение богам войны. Сон разума порождает чудовищ отнюдь не только в голове прикорнувшего монаха. Однако сегодня Сатурн отправляет не на войну, а обрекает на вынужденную праздность. Бездеятельность, свобода от принудительного, прежде всего физического, труда, досуг – обязательное условие созерцательного, теоретического образа жизни, знания и творчества, но одновременно и ловушка, в которой поджидает сладкий меланхолический искус. Из тысячелетней привилегии элит бездеятельность за один

последний век стала достоянием, завоеванием и кошмаром масс. Обуздывать непокорную материю оказалось куда проще, чем заниматься эфемерным и конечным собой.

Может быть, богом быть трудно, но и отдыхающим – непросто. Лечение желательно, но с точки зрения вечности (или, скорее, бренности) бессмысленно. За отсутствием дел время наполняется своим чистым протеканием. Жизнь как смерть. Не потому ли жизнь этой цивилизации маркируется, как вехами, смертями: Бога, философии, романа, поэзии, субъекта? Неужели и европейского «последнего человека» благополучно переживет беспощадно-обворожительный полуденно-сумеречный демон меланхолии?

Good-bye, homo faber?

Путешествующего по потусторонне-красивому северо-западному скалистому берегу Корсики за очередным виражом встречает впечатляющая индустриальная руина, которая, как и положено руине, наводит путника на размышления о бренности существования и вносит в безупречно райский пейзаж приятно-щемящую ноту. Вырабатывавшая здесь асбест фабрика – один из первых корсиканских промышленных объектов, закрытых уже в середине 60-х годов. За несколько десятилетий остров из аграрно-рыбацкого стал туристическим. Переквалификация преобразовала и отчасти травмировала корсиканскую национальную идентичность. Каштановые и инжировые рощи и сады, уютные рыбацкие порты при новом раскладе пригодились, а вот асбест пришлось убрать. Вредно для здоровья работников, потребителей, курортников, для окружающей среды. Однако само огромное здание, прилепившееся к скалистому обрыву над морем, к счастью, осталось. Меняется отношение к недавней индустриальной истории: она становится предметом памяти и эстетического любования – верный признак того, что страница перевернута окончательно.

В материковой Франции весной 2004 года произошло событие, несмотря на очевидную важность, не нашедшее должного отражения в повседневной трескотне медиа. Закрылась последняя французская шахта. Последний выход из забоя в истории Франции. Последний душ шахтера в истории Франции. Нерентабельно. Невыгодно. Исчезновение архаичной угольной отрасли прошло незамеченным на фоне «реструктурации» известнейших фирм вовсе не только в добывающих отраслях, повлекшей за собой закрытие цехов и целых заводов. Повышение цены на нефть, может быть, продлит угольную агонию, но не надолго.

Как некогда церкви, все чаще в Западной Европе бывшие фермы, сараи, мельницы, бывшие автомобильные заводы, текстильные фабрики, гидроэлектростанции переоборудуются под музеи, гостиницы, жилые дома. Названия некоторых концертных залов и площадок сохраняют следы своего происхождения, наделенного теперь неоностальгической поэзией: L'Usine, Forces Motrices, Rote Fabrik, La Manufacture, La Maroquinerie (то есть «Завод», «Турбины», «Красная фабрика», «Мануфактура», «Кожгалантерея»). Обречены ли на исчезновение европейские промышленность и сельское хозяйство? Будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что политики предпримут

все, чтобы помешать этому. Ибо завтрашние туристы-курортники захотят видеть Европу живой и как раз-таки не «туристической».

Как в тех – несколько преувеличенно-очаровательных – средневековых западноевропейских городках, которые сегодня все больше возрождаются к своему «новому средневековью», где кузнец работает – или делает вид, что работает, – для своих заказчиков, а не для праздной толпы, которая наводняет его вылизанную кузню летом или по выходным (если солнечно). Изредка, да находятся заказчики и среди праздношатающихся туристов. Мода на штучную работу растет по экспоненте. От фабрики назад к мануфактуре, а от нее – к ремесленной мастерской. От массового изделия – назад к шедевру мастера. Это движение совпадает с выходом из моды новых и со входом в моду старых добрых материй и веществ. Новое устарело. За крошечные полвека Европа пережила сперва пластмассовую революцию, потом контрреволюцию традиционных элементов: дерева, металла, стекла, глины. То есть в пластмассе мы по-прежнему нуждаемся, но ее же можно ввозить из второго и третьего мира, готового ее производить в каком угодно количестве. Вредная асбестовая фабрика с Корсики переехала ведь во Вьетнам, оставив на средиземноморских скалах свою ностальгическую скорлупу.

Итак, пусть крестьяне пашут, заводы (ну, хоть самые безвредные) – дымят, университеты – учат, лаборатории – ищут, даже если на выходе будет получаться главным образом не конкурентоспособная продукция, а социальный пейзаж, в котором приятно жить или остановиться на пару дней. Разумеется, одно другому мешать не должно. Платные экскурсии на оставшиеся заводы и ГЭС, трудовые отпуска на крестьянских дворах постепенно станут столь же популярны, как и присутствие на генеральных репетициях оркестров и посещение мастерских художников. Уже сегодня взыскательный турист избегает мест в Европе, которые прямо на туризм нацелены. Там он чувствует себя таким же обведенным вокруг пальца, как и у себя дома. Тогда зачем? Взыскательный турист ищет возможности подсмотреть иную жизнь, как она течет без него. Как выглядит горный курорт в межсезонье? Так же ли старательно мастерит сошедший со средневековой гравюры столяр в пасмурные осенние будни, когда толпа зевак разъезжается по своим рабочим местам, чтобы мечтать о следующем отпуске, а свою вуайеристскую жажду временно утолять у телевизора?

Впрочем, в рабочее время и зевака может трудиться на поприще туристско-курортном, в широком смысле этого слова. В Лондоне, Париже, Мадриде и Амстердаме гостинично-ресторанное хозяйство уже и сегодня является отраслью,

занимающей наибольшее число рабочих рук. К тому же там межсезонья не бывает, и в календаре царит перманентная страда. Европейцу непросто узнать себя в этой неизбежной смене вех: его социальное существование будет осциллировать между курортником и его слугой, а обмен этими ролями будет куда более быстрым, чем тяжеловесная диалектическая акробатика господина и раба.

Пролетарии! Соединяйтесь против пролетариев всех стран!

За редким исключением нынешние программы европейских политических партий содержат три общих пункта: рост производства, обеспечение занятости и борьбу с «делокализацией», т. е. с уводом промышленных отраслей в другие страны, преимущественно третьего мира, или в трудолюбивые молодые страны европейского Востока. Все три врага рассматриваются как временные, преодолимые или как возникшие в результате несостоятельности вот этого вот правительства. Все три цели представляются как довольно легко достижимые, стоит только отстранить нынешнее несостоятельное правительство (или, соответственно, заткнуть рот мешающей работать оппозиции).

Рост производства стагнирует (в целом в зоне евро он, как известно, чуть ниже 2 %), но должен и может быть куда шибче. «Ну да, – говорит обывателю нынешнее правительство. – В этом квартале резкого роста по непредвиденным обстоятельствам не получилось, зато в следующем… Вот увидите». Из всех партий одни только «зеленые» осмеливаются вполголоса усомниться – не в осуществимости этих обещаний, а в экологической целесообразности продолжения гонки за ростом производства. Но за это они платят долей голосов избирателей куда более низкой, чем та, что диктуется серьезностью и насущностью поднимаемых ими проблем.

Безработица не уменьшается, колеблясь в лучшем случае вокруг 10 %, доходя в зависимости от страны, региона, профессионально-половозрастной категории (а также способа подсчета) и до 50 %. «Надо признать, – сообщают желающим верить ответственные специалисты, – что в прошлом году по независящим от нас причинам резко снизить процент безработицы не удалось. Конъюнктура, цены на нефть, кризис там и сям, терроризм, тайфун, засуха. Зато как дело пойдет в следующем году… Вот увидите». В итоге политика в области занятости остается непоследовательной и не отвечающей ни грядущей, ни даже нынешней ситуации. Безработных принуждают к постоянной «переквалификации», с большей или меньшей изобретательностью создавая иллюзию, что имеются отрасли, жаждущие рабочих рук. То и дело раздаются обнадеживающие кличи о надвигающейся нехватке школьных учителей или информатиков. Как правило, эти прогнозы оказываются

ошибочными или сменяются на другие так быстро, что становится неясно, исправляет ли прогнозист свой предыдущую ошибку или подстраховывается другим вариантом. К тому же число прогнозирующих инстанций растет, и им плюралистически нет дела друг до друга.

По сравнению с низкой производственной динамикой и безработицей «делокализация» – враг молодой, хотя сам феномен, разумеется, вовсе не нов. Говорить о его правомочности и закономерности неполиткорректно, и никто из политиков на это не отваживается. Между тем очевидно, что он есть не очень отдаленное следствие недавнего европейского поворота от цивилизации принуждения к цивилизации удовольствия. Индивидуализм и растущее осознание прав человека сделали эффективную эксплуатацию несовместимой с достойным человеческим существованием, что привело к неизбежной делокализации индустрии в страны, в которых консумеризм молод, зелен, боек и еще способен убедительно сулить искупление за пролитый пот. Большая или меньшая неповоротливость западных экономик, на которую указывают критики, – это, если взглянуть позитивно, прежде всего такая система мер по охране прав работника (фиксированная минимальная зарплата, сложная процедура увольнения, гарантированное пенсионное обеспечение), которая, в свою очередь, отпугивает работодателя. В этом одна из причин стагнации численности европейских безработных. Они держатся за свой статус и потому, что пособие по безработице дает право на другие скидки и вспомоществования.

С другой стороны, европейская модернизация осуществлялась в значительной степени за счет других стран (прежде всего колоний) и во многом в ущерб им. При этом ценность универсализма, ей присущая, требовала, чтобы и другие субъекты могли вкусить ее плоды, иначе говоря, встать на путь модернизации. В то время как Европа подходит к исчерпанию своей модели, другие страны и регионы только с энтузиазмом обнаруживают возможности ее применения у себя. Нетрудно увидеть некую историческую (если не «поэтическую») справедливость в этом реваншистском сценарии. Однако пока что европейцы видят в «делокализации» явление враждебное и подлежащее, по крайней мере, ограничению и контролю. Правые, особенно те, что у власти, обещают его взнуздать. Левые, особенно если они в оппозиции, проклинают его страшными словами.

Их-то реакция и представляется наиболее странной. Протекционистская по сути, она нацелена на защиту своего

национального пролетариата. Как мы знаем, история не подтвердила мнения, будто пролетариат не имеет отечества. Он его имеет. Однако при нарастающей глобализации изолированное рассмотрение одной отдельно взятой национальной экономики дает картину все более искаженную. Сегодня невозможно рассматривать классовую структуру общества, ограничиваясь национальными границами, как было бы абсурдно рассматривать экономику метрополии в колониальную эпоху без учета колоний. Кстати, типологически ситуация осталась сходной. Большая (и все большая) часть сегодняшнего пролетариата Запада живет не на Западе. Но левые сегодня вовсе не готовы к тому, чтобы защищать этот свой пролетариат, живущий на других континентах и говорящий на тридевяти языцех. Ведь он же не голосует! Наш пролетариат, да не наш электорат!

Вместо этого куда благодарнее и благодатнее озаботиться своим местным пролетариатом, пусть статистически невеликим по сравнению с настоящим, далеким и иноязычным, зато и тем более дорогим, что требует, как и всякий редкий исчезающий вид, экологически-бережного обращения. Впрочем, этот декоративный пролетариат, пролетариат-алиби тоже становится все более и более иноязычным, иноконфессиональным, инокультурным, живущим по своим законам, а порой и вне закона, без вида на жительство и вообще какой бы то ни было признанной законом идентичности. Хорошо бы, конечно, и его выселить туда, к настоящему, вместо того чтобы интегрировать, обучать языку и манерам. Там он хотя бы не будет загораживать отдыхающим вид на лиловый, отменно-меланхоличный закат Европы.

Стар, очень стар, суперстар

Выражения «старушка Европа», «(добрая) старая Европа» стали наполняться новым (старым?) смыслом: Европа стареет. В демографически динамичных регионах Азии, Африки, Латинской Америки количество людей моложе 25 лет достигает двух третей, местами трех четвертей общего населения. В Западной Европе – и пропорция обратная, и тенденция к ее усугублению налицо. Послевоенный бэби-бум остался казусом. Сексуальная революция, скорее, окончательно разъединила «сам процесс» и то, что некогда считалось результатом. Феминизм при всей многоликости и противоречивости был един в своем запрете на отношение к женщине как к воспроизводящей машине. Откуда растущее число старо– и никогда не родящих. При этом медицина делает головокружительные успехи, суля, – если совершенно случайно не помешает эвтаназия, – привести человека прямо к вершинам бессмертия.

Увы, даже к бессмертию дорога ведет через старость. И с удлинением жизни все большая ее доля будет приходиться на старость. Старость занимает уже не последнюю сцену пятого акта, а два последних акта целиком. При этом официальный срок выхода на пенсию медленно, но повышается, тогда как реальный временной порог прекращения активной фазы жизни снижается: сорокалетним безработным трудно, а пятидесятилетним – и вовсе невозможно устроиться на работу. Старики одновременно и стареют (растет продолжительность жизни), и молодеют (все более молодые люди де-факто выходят на покой). Европейская система социального обеспечения, конечно, в мировом авангарде. Но экономическая и демографическая стагнация нагоняет над ней серьезные тучи. Уже сегодня европеец стар по сравнению с прочим миром. От кого же ему ждать полагающихся старику заботы, такта, внимания, лечения? От тех, кто молод или, по крайней мере, моложе. И кого, чисто статистически, все меньше и меньше. Ксенофобские реакции, кроме своей архаичности-атавистичности в принципе, несостоятельны еще и экономически. Чья рука, если не рука приезжего или потомка приезжего, подаст завтра стакан воды миллионам старых и немощных европейцев? Европа – дом престарелых? Во всяком случае, дом отдыха, санаторий прежде всего для себя, для своих, европейских стариков.

При этом общество – по образцу рекламы, этого трубного гласа социума, – о стариках помалкивает, а если решит высказаться, то хочется, чтобы старики этого не слышали.

Господствующий дискурс о них (за пределами профессионального геронтологического) формируется плохо скрытыми жалобами пенсионных фондов и поэтому получается обвинительным: «Живут и живут, понимаешь ты». Такое отношение к старикам скандально приравнивает их к самым страшным глобальным язвам. СПИД, терроризм, потепление климата, продовольственный дефицит, исчерпание недр, озонная дыра, старение населения… Старики не протестуют, терпят (а может быть, и признают первородную вину; ведь для многих из них религиозное воспитание – еще не пустой звук). Вообще европейские старики, не вровень российским, социально пассивны, и их протест не получает сколь-нибудь общественно слышимого выражения. Или им живется лучше, чем российским?..

Между тем за спиной у нынешних стариков, гражданами какой бы страны они ни были, – «короткий XX век» (1914–1989) со всеми его прелестями. Не последняя его «прелесть» – падение престижа труда. Нынешние старики еще жили, чтобы работать (и чтобы заслужить работой отдых), тогда как следующее поколение согласно, так и быть, работать, чтобы жить, но лучше все-таки – просто жить. А уж философию жизни ради работы оно рассматривает как своего рода коллективное помрачение, за которое уж точно никакой награды не полагается. Не удивительно, что старики предпочитают не мозолить глаза одержимому вечной молодостью обществу и по возможности прятаться от его немого или озвученного укора. Пока есть силенки – в путешествиях, пока остались денежки – на курортах. Там, по крайней мере, к ним относятся как к клиентам и – хотя бы в этом качестве – искренне желают жить вечно.

Европеец с возрастом не становится меньшим индивидуалистом. Поэтому верхом несчастья считает старение при собственных детях, у них на виду и на шее. Чуть менее плохое решение – дом престарелых. Наказание здесь состоит не в уходе (в Европе обычно хорошем), а во взаимообреченности на собратьев по несчастью. Идеал – автономия. Рынок чутко откликнулся на этот зов. Два недавних парижских салона предложили старикам альтернативу. Один салон – мореходный, витрина одной из немногих процветающих ныне отраслей, мелкого и среднего прогулочного судостроения. У кого в порядке деньги и здоровье – покупайте или арендуйте яхты, катера, пароходы, и – за горизонт! Другой салон, прямо адресованный пожилой категории населения и носящий почти советское название «Счастливая старость», предлагает более доступную по цене возможность предаваться индивидуализму. Строительная индустрия работает над моделями домов для старика, которые

позволили бы ему не абсолютно зависеть от доброй воли юных слуг или социальных работников. В предлагаемых моделях жилищ будущий старик, не вставая с постели, сможет фильтровать гостей и открывать дверь, кому нужно, сможет въезжать под душ на кресле waterproof, готовить пищу одной рукой, не вставая с того же кресла, и причесываться перед зеркалом, предусмотрительно установленным на уровне все того же кресла. При этом дизайнеры подумали и о том, чтобы не напоминать старику ежеминутно о его беспомощности и дать ему возможность упражняться, прилагать усилия, поддерживать форму.

Альтернатива получается, впрочем, не взаимоисключающая. Немножко кооперации – и будет вам модель яхты, где прикованный к креслу старик с парализованной правой рукой сможет не только готовить и купаться, но и ловить рыбу, поднимать паруса и бросать якорь, словом, автономно бороздить океаны вдали от недобрых взглядов подрастающего поколения. Конечно, это решение по карману только 0,01 % старческого населения. Дом-автомат – еще для пары процентов. Остальному подавляющему большинству придется довольствоваться тем же рецептом, что и везде и всегда, а именно: взаимопомощью со стариками-соседями с некоторой надеждой на бескорыстных добровольцев помоложе.

Что потом? Потом стариками станут нынешние зрелые, потом нынешние молодые. Их прототипы уже угадываются в пока, к счастью, редких образцах новой, доселе невиданной породы стариков (почему-то преимущественно из стран «конца истории», оказавшихся вдали от трагедий прошедшего «короткого века»). Новый старик легко отличим по тому, что история обошла его. Его жизнь была сменой не эпох, а физиологических фаз, и потому старение его – чисто физиологично. Единственный опыт, который отложился в морщинах его чела, – это опыт потребителя и знатока прав потребителя. Самый интересный конфликт его жизни – многолетняя тяжба с табачной кампанией, или банком, или, кстати, с туроператором. Если уже в сегодняшнем социальном воображаемом труд перестает быть достаточным основанием для вознаграждения комфортабельным покоем, то станет ли таким основанием жизнь, отданная напряженному, изнурительному потреблению?

А потом состарится сегодняшний избалованный ребенок, или, как его называют педагоги, «ребенок-король». Тут и сказке конец.

Цивилизация времени, которого не хватает

Нет жалобы более распространенной, чем на нехватку времени. Дефицит времени стал самым банальным топосом общения и самоощущения. Между тем подлинно массовой эта беда стала совсем недавно. Два поколения назад у большинства европейцев времени не было настолько, что его не хватало даже на то, чтобы это заметить. Знаменитую формулу Августина: «Пока не думаю о времени, понимаю, что оно такое; когда задумываюсь, перестаю понимать», – современная цивилизация переписала так: пока не было времени, его хватало. Вот уже, по меньшей мере, полстолетия Европа является цивилизацией свободного времени, хотя упорно предъявляет и расценивает себя как цивилизацию труда. Если в середине XIX века рабочее время съедало почти две трети времени бодрствования среднего европейца, то сегодня оно занимает только одну седьмую его часть. Речь идет, конечно, не о предвиденной Марксом «отмене труда» как такового, а пока, скорее, о его экспорте в младоиндустриальные страны. Но, так или иначе, для Европы это радикальное сокращение рабочего времени – не преходящая конъюнктура, а долговременная тенденция.

Досуг как деятельность породил – сначала, еще на заре классового общества, у предков так называемого праздного класса, а в середине XX века у многомиллионных масс – свободное время как такое особое время, которое уже не определяется по функции и характеру трудом (а именно как компенсация за него), а выстраивается независимо от труда, отражая антропологически бесконечное (хотя и всякий раз исторически обусловленное) множество способов лепить свою жизнь и идентичность. Трудовой этос сменился этосом личной самореализации, предполагающим многообразие возможных моделей. Трудящийся стал ценить свою работу отнюдь не в последнюю очередь за то, сколько свободного времени она ему оставляет, за вольный график, за учебу параллельно с работой, за чтение в рабочее время, за длинный отпуск, за раннюю пенсию, то есть согласно ценностям цивилизации досуга.

В какой-то момент символический Рубикон был перейден: свободного времени стало больше, чем рабочего, и оно сначала статистически, а потом и сущностно стало основным типом социального времени. Это произошло вскоре после Второй мировой войны. Первые социологические отчеты об этом

событии, в самом начале 50-х годов, казались преувеличенными и остались незамеченными: слишком противоречили они очевидности тогдашнего промышленного бума. Первые исследователи нового феномена делали акцент на неслыханных возможностях массового образования, на свободном времени как базе новой культурной революции. Вскоре стало ясно, что запросы к освободившемуся времени и ожидания от него слишком велики, чтобы просто тратить его на овладевание «тем, что накопило человечество». Будете как боги? Но боги не сидят за книжками. Выяснилось, что большая часть населения не знает, что делать с этими упавшими на него двумя-тремя тысячами часов в год и уж во всяком случае не намеревается растратить их на образование. Вслед за трудом свободное время стало полем социального расслоения, но уже по иным критериям: по способности или неспособности совладать со своей свободой.

Нехватка времени – это прежде всего острое переживание неспособности или невозможности прямо конвертировать свободное время в счастье. Нехватка «времени на жизнь» занимает уже с начала 80-х годов первое место среди причин фрустрации французов. Говоря экономически, возникновение «общества потребления» было ответом на угрозу кризиса перепроизводства: на потребление все большего числа и за все более короткое время произведенных благ требовалось все больше времени. Эта тенденция усугубляется параллельно с пропорциональным ростом рынка услуг по отношению к рынку товаров. Говоря социологически, в обществе усиливается ощущение нехватки времени на потребление произведенного. Это можно считать формулой отчуждения труда, скорректированной для общества с преобладающим свободным временем.

Пока темпоральной осью социума было рабочее время, жизнь делилась на периоды, прямо соответствовавшие основному занятию: юность – учеба (как правило, недолгая), «собственно жизнь», т. е. зрелость и работа, и, наконец, старость, период ничтожно короткий из-за низкой продолжительности жизни. Что касается отдыха, то пенсия, оплачиваемый отдых по старости, была известна ничтожному меньшинству трудящихся до самой Первой мировой войны. Вытеснение сегодня трудовых (зрелых, «взрослых») ценностей на обочину жизненного универсума воспринимается поэтому как инфантилизм, присущий, по единодушному мнению, нынешней европейской цивилизации: юность затягивается на всю жизнь, потому что и конец учебы, и трудовая жизнь, и брак (эти столпы традиционной социализации) наступают позже, а то и никогда.

С приходом постиндустриальной эпохи периоды жизни стали

многократно перемежаться, налезать друг на друга. Первые стажировки, временные контракты и другие встречи с миром труда начинаются рано, но постоянная работа начинается на десятилетие позже, чем у предыдущего поколения. Работа постоянно сочетается с учебой (переподготовкой, перепрофилированием, повышением квалификации и т. п.), так что учеба занимает все большую долю самой работы. Занятость все чаще перемежается с периодами безработицы в той или иной ее форме. Пенсия часто сопровождается «второй карьерой», будь то профессиональной или любительской. Продолжительность жизни и, следовательно, длительность активной жизни растет, а сама трудовая деятельность сокращается. Нередко человек впервые устраивается на работу после 30, а должен (или может) выйти на пенсию уже в 50. К тому же нередкой стала ситуация, когда работающий человек только в свободное время может предпринимать шаги, способные улучшить его рабочее положение, обеспечить профессиональное продвижение, а тем более скачок, «прорыв», тогда как труд в рабочее время способен только увековечить его связь с нынешним постом. Свободное время стало диктовать закон времени рабочему.

Времени будет все больше и его все больше будет не хватать.

Потому что требуется свободное от свободного времени время, чтобы понять, что с этим свободным временем делать.

Девять секунд

Как некогда в храм, еще недавно входил европеец в музей, место если не благоговейности и отрешенности, то во всяком случае сосредоточенности. Местные заходили сюда на регулярную литургию задумчивой несвоевременности, приезжие паломничали к чудесам человеческого гения или изобретательной природы. Совместный продукт секуляризации, прогресса, колониализма и любопытства, музей из частной коллекции кунстштюков был мобилизован в качестве могучего средства сплочения сообщества под знаменем локальной идентичности, будь то национальной или региональной. Музейный институт – это часть общества, делегированная им с целью мыслить себя и весь мир в «музеальной» ипостаси, отбирая не только архивируемое (заслуживающее хранения и ему поддающееся), но и экспонируемое (заслуживающее показа и ему поддающееся). Классическая миссия музея состояла в том, чтобы, будучи выше частных интересов, указывать человеку как человеку его место в мире (природе и истории), сообразуясь со сверхзадачами общества, но не взирая на публику (т. е. на общество как публику).

Изначально эклектичный, музей размежевался на, грубо говоря, музей исторический и музей художественный. Первый отвечал за создание коллективной этно-пространственно-временной идентичности, второй – за воспитание общественного вкуса. Другим размежеванием была специализация на музей своего-родного и музей экзотического. Крах таких лобовых национально-культурных проектов в результате двух мировых войн сменился после непродолжительного послевоенного упадка неслыханным музейным бумом. Музеи стали разнообразнее. Из музеев, ныне существующих в различных европейских странах, от 70 до 90 % были созданы после войны. Помещения для новых музеев (как и для театров) стали любимым упражнением в фантазии для архитектуры XX века, как соборы для готического искусства и как вокзалы в XIX в. Углубилась, систематизировалась музейная мысль. Если основные специализированные журналы возникли в начале века, то теперь открылись кафедры и факультеты музеологии.

Но к 90-м годам после промышленного закончился и музейный бум. Приостановился рост, затем началось падение числа посещений. Забуксовала музейная рефлексия, вынужденная признать, что, – не повинуясь ее благим пожеланиям и под влиянием куда более мощных факторов, – и миссия музея, и его

стратегия стали претерпевать многоплановую метаморфозу. Эрзац храма, последнее прибежище ритуалов гражданственности, музей стал сегодня сценой ее кризиса. Из конечного ориентира локального бытия современный музей превратился в место, где переписывание своей истории и идентичности становится наглядным, очевидным. В полном сознании этого обстоятельства музеи стали делать самих себя своей темой, обнажая прием, устраивая самоироничные выставки, заменяя экспозицию историей экспозиций как историей способов сообщества видеть себя. Таким «повинным», постсовременным актом музей как бы признается в собственном релятивизме и, будучи не в силах вполне искренне занять какую-то очередную заведомо субъективную позицию, пока только честно освещает различные предыдущие. Музей становится собственным экспонатом, предваряя то – возможно, скорое – время, когда сама музеальность станет знаком географически и исторически ограниченного отношения к истории (Европа, Новое время).

Век назад музей мыслил себя как альтернативу забегаловке (ср. с благочинным музейным кафетерием) и ярмарке (ср. с позаимствованными у балагана, но «облагороженными» панорамами и действующими моделями). Социальной задачей музея было поместить человека в окружение ценных предметов и тем самым поднять его на новые уровни уважения к себе и миру. Независимо от реального содержания той или иной экспозиции, благотворный образовательный эффект ожидался от самого примыкания посетителя к социальному самодисциплинирующему ритуалу.

Однако институцией однозначно образовательной музей так и не стал. Сегодняшняя его эволюция к развлечению представляется, по крайней мере на обозримое время, необратимой. Налицо тенденция к музею авторскому, субъективному, делающему ставку на сценографию, постановку, эффект, внушение. Исторический музей все более следует модели музея искусств. Так называемая «новая музеология», переместившая центр тяжести с вещи на контекст, со «что» на «как», предвосхитила этот сдвиг, хотя вряд ли может считаться ответственной за его крайности.

Музей отвернулся от общества и стал лицом к публике, уступив вездесущему требованию стать живым, динамичным, привлекательным. Стала падать ценность постоянной экспозиции по сравнению с временными и/или передвижными. Публике нужны «события». Одна ударная выставка обеспечивает до 15 % общенациональной годовой кассы посещений. Появились музеи вовсе без постоянной экспозиции. Хранитель или куратор часто

вынужден выбирать между успехом у публики и одобрением профессиональных критиков. Несмотря на рост числа музеев, львиную долю средств и публики стали стяжать музейные гиганты, более приспособленные к маркетинговой игре. Они, например, создали отделы по изучению публики. Эпоха, когда музей ощущал себя кузней социального единства, миновала. Время велит дробить публику на категории, чтобы точнее удовлетворять потребности каждой. Услуги увеличиваются и разнообразятся: экскурсии, уроки, семинары, серии докладов, концерты, мастерские и прочая развлекаловка для детей, кинопоказы, встречи с художниками. Множатся и платные услуги, товары на продажу. Музеи открывают собственные киоски и бутики, арендуют свои фойе, сдают кинозалы. А портики бесплатно предоставляют роллерам и скейт-бордистам: авось когда-нибудь образумятся и заглянут вовнутрь. Что уже учитывается архитекторами при постройке новых музеев.

На этом фоне произошла неоднозначная встреча с мультимедиа, включение которых в структуру музея не только необыкновенно облегчает жизнь исследователю или любознательному, но и грозит потеснить практику посещения музея, личного присутствия, созерцания. Если можно консультировать музейную экспозицию, к тому же «интерактивно», в зале или вестибюле музея, то тем более комфортно это можно делать дома или в кафе, независимо от того, на каком расстоянии от музея они находятся. Новые медиа могут выявить и новую силу музея – от противного: очевидной демонстрацией того факта, что никакое изображение не может заменить предмета в его особости, бренности, хрупкости (в том числе в его подверженности выцветанию, порче, пожару или краже). Но медийная «навигация» не преминет еще больше сократить пресловутые девять секунд – время, которое современный посетитель проводит в среднем перед экспонатом.

Музей стоит на пересечении траекторий. В траекторию художественного музея входят мастерская художника, частная коллекция, аукцион, галерея; исторического-краеведческого – быт/обиход, блошиный рынок, антикварная лавка. Но музей все больше включается и в другую цепь: аэропорт – гостиница – ресторан – магазины. Уже сегодня две трети посетителей европейских музеев – иностранцы. Как музей дает срез окружающего внешнего мира, так и целые города и страны стали предъявлять и продавать себя как «музеи под открытым небом». У Европы пока не меньше, чем у других, оснований для такого самопредставления. Музей как способ приближения-дистанцирования есть европейский феномен. Музей и есть

европейское отношение к истории. Стремясь потрафить глобальному потоку, европейский музей рискует утратить свою европейскую экзотику.

Долго ли придется есть пирожные?

Чем будет жить Европа, утратив свои индустриальные позиции? Труд мечтает, чтобы его заменили машины, чтобы работа делалась сама, без него; капитал мечтает, чтобы деньги прирастали сами собой, без захода в утомительный производственный процесс. Европа (а тем более ее динамичный американский форпост) нашла способ совместить обе мечты. Капитал прирастает от обращения в виртуальном далеке.

На скромный, без помпы, конец промышленной эры, наступивший тридцать лет назад, капитал отреагировал чутче и быстрее, чем все общественные науки вместе взятые. Рецессия, безработица были опознаны им как тенденции «тяжелые», медленные, требующие поэтому от него не полумер типа затягивания поясов или работы «тщательнее», а структурного сдвига. Еще не стояла столбом речь о глобализации и виртуально-цифровой революции, но уже стало ясно, что грядут перемены, перед которыми государственные рычаги окажутся бессильны.

Тенденция к усилению финансового капитализма привлекла критическое внимание экономистов уже в начале века. Торстайн Веблен в 1904 г. обвинял новый класс финансовых экспертов в том, что их погоня за приращением капитала разрушает индустриальную конкуренцию, а заодно и компетенцию. В 1910 г. вышла книга Рудольфа Гильфердинга «Финансовый капитал», вдохновившая В. И. Ленина на его знаменитый анализ современного ему империализма. К середине 70-х годов тенденция к финансизации капитализма окончательно победила в совокупности развитых стран. Выход на экономическую арену новых технологий усугубил эту тенденцию. Вся последняя четверть XX века, до самого интернетного кризиса 2000 года, прошла под знаком триумфа так называемой «новой экономики», сменившей допотопный предпринимательский (семейный, династический, патримониальный) капитализм.

Первым предвестником смены парадигмы было раздвоение инстанции хозяина на собственника и управляющего. Управляющий нанимается, чтобы извлекать финансовую прибыль любыми средствами, включая упразднение производства (идеальная модель Alcatel: «предприятие без завода»). Минимум прибыли был установлен консенсусом инвесторов на уровне 15 %, что намного выше темпов роста, как известно, не дотягивающего сейчас в Европе и до 2 %. В результате долговременную предпринимательскую логику заменила краткосрочная финансовая. Она позволяет лучше и быстрее

перераспределять риски, реагировать на конъюнктуру, а фактически и создавать ее. Целью предприятия стала финансовая рентабельность, или максимизация ценности акций.

Биржа как экономический фактор получила новый импульс с открытием коммерческих горизонтов Интернета. Возникают мириады start-ups. Банки подбивают их к размашистым операциям, грандиозным бизнес-планам. Инвесторы требуют бесшабашной отваги. Согласно сетевому анекдоту, интернетный пузырь – это лапша, которую 30-летние хитрюги навесили на уши 50-летним простакам по наущению 40-летних прохвостов. За одну пятилетку произошел радикальный сдвиг к виртуальной стоимости, основанной не на результатах, обороте или реальных ресурсах, а на мнении.

Те, кто финансировался по старинке, сообразно некоему «положению дел», обрекли себя на слишком медленный рост и оказались на обочине. Стремительно выросла роль репрезентации, имиджа. Для выжимания 15 %-ной прибыли понадобилась как раз истеричная реакция общественного мнения, способного отвечать преувеличенно резкими жестами на любой слух, им же порожденный. Таков механизм финансовых пузырей, раздуваемых на пару блефом и стадным инстинктом. Мнение становится перформативным, реализуя то, что возвещает. Неоправданно высокую 15 %-ную планку можно перепрыгнуть только ограниченным числом способов, впрочем, не исключающих друг друга. Можно урезать у работников, чтобы подбросить акционерам, но это рискованно. Можно как-нибудь попытаться поднять производительность, но это хлопотно. Можно попробовать сократить затраты, но это сложно. Наконец, можно свернуть производство, перегнав его в недвижимость или переместив туда, где больше солнца и меньше профсоюзов, – это, пожалуй, проще всего.

Отсюда новая расстановка сил современного капитализма. Его характер сегодня – экономическая демократия, а социальная база – народный акционариат. Рабочий, могильщик как прежнего капиталиста, так и самого себя, сам стал капиталистом, т. е. акционером. Пусть мелким и почти иллюзорным: вся его свобода заключается в том, чтобы поскорее и желательно без потерь избавиться от акций, которые накапливает управляющий, гарантирующий себе тем самым власть принятия решений. Теперь общественные противоречия разыгрываются прямо в душе «нового капиталиста». Как трудящийся, он, конечно, хочет, чтобы промышленность оставалась в его стране, чтобы у него росла зарплата и т. д. Как потребитель, он голосует ногами и кошельком за дешевые товары, произведенные в солнечно-

беспрофсоюзных краях. Как гуманист, он возмущен условиями труда своих далеких азиатских собратьев. Как капиталист, он ожидает, что его акции принесут ему максимальную прибыль, благодаря самоотверженному трудолюбию, принятому среди все тех же собратьев. Поэтому, отражая расщепленность его сознания, общество реагирует на очередное коллективное увольнение какой-нибудь фирмой так же шизофренично: наигранным возмущением в выпуске новостей и ростом пунктов этой фирмы на бирже.

Фактически трудящиеся Севера становятся капиталистами над трудящимися Юга, которым и перепадает грязное дело производства. Сегодня базу мирового капитализма образует около 5 % населения Земли, т. е. 300–400 млн человек – держателей акций (главным образом, американцев, европейцев и японцев), 1 % из которых обладает половиной акций. Добрая треть этих акций – пенсионерская. Как будущий пенсионер, наш труженик-акционер надеется, что это положение дел будет если не вечным, то долгим. Но с этим, кажется, есть проблемы. Миллиарды долларов биржевой капитализации, вращающиеся вокруг планеты, не только обеспечивают ему пенсию завтра, но и обрекают его сегодня на безработицу, а заодно разрушают планету «руками азиатов».

Однако что можно сделать с этой машиной и, главное, кто может что-то сделать? Лопнувшие пузыри последних лет (Enron, Parmalat…) показывают, что если можно делать деньги, разоряясь, то устоять от этого соблазна непросто. Государство стало первой жертвой «новой экономики»: избежать его контроля и было, собственно, одной из ее целей. Международные механизмы регулирования находятся в зачаточном состоянии. Их развитие будет, вероятно, крайне медленным и извилистым, учитывая могущество лобби, им противодействующих. Постоянно предлагаемая отмена «налоговых раев» остается пожеланием вполне утопичным. Регулирующим инстанциям противостоит Протей финансового потока, а такого субъекта повесткой в суд не вызовешь. Европа, возможно, попытается взнуздать мустанга спекулятивного капитализма: будет препятствовать концентрации фирм и капиталов, налагать политическое вето на экономические решения во имя «интересов Европы». Некоторые предлагают сопротивляться американской модели, где акционариат диктует политическую волю (хотя, как ни крути, это такая форма демократии). Но и в этой области Европа спешит догнать своего юного и незакомплексованного североамериканского отпрыска. Ибо краткосрочная спекулятивная логика прекрасно соответствует короткому электоралистскому дыханию

европейской политики.

Мы, греки

Является ли курортный поворот каким-то радикальным разрывом с некоторой европейской традицией? Нисколько. Скорее, напротив, он возвращает Европу к тем ценностям покоя, свободы от труда и суеты, которые были воспеты классическими эллинами, предками всех европейцев. Он исполнил многовековую мечту, и если исполнение ее терзаемо противоречиями, то отчасти оттого, что и давешняя мечта была противоречий не чужда.

О безмятежности, конечно, говорить сегодня не приходится, ибо меланхолический демон не дремлет, но пропорционально все более длительный досуг, нынешний удел миллионов европейцев, был еще недавно достоянием элиты, а до того – исключительной привилегией языческих богов, пока новый бог-мученик не спустился с пьедестала навстречу conditio humana. Первое поколение греков (т. е. людей) было подобно богам: сердце без забот – ни мук, ни нищеты. Пятое, железное, поколение невыгодно отличается от своих предков. Оно осуждено на труд, угрызения совести, зависть, классовую борьбу, поиск другополого партнера для продолжения рода и массу других неудобств. У него стало ощутимо меньше досуга. Да и оставшийся оно норовит поставить себе в упрек. В архаичные времена праздность – scholê приравнивалась к лени – argia и соответственно осуждалась, а затем и преследовалась по закону (закон Солона против тунеядства). Бездеятельность – apragmosunê ассоциировалась с дурашливостью, нелюбознательностью, инертностью, тупостью. И вместе с тем она одобрялась у богов как необходимое условие душевного покоя – hêsuchia. Человеку же покой нужно было еще заслужить – трудом, подвигом, военной или спортивной победой, как у Пиндара.

Греки видели в покое не противоположность деятельности, а середину между двумя одинаково отвратительными крайностями – ленью и интриганской суетливостью (polupragmosunê, philopragmosunê, periergia). Эти по видимости противоположные пороки склонны к альянсу: лентяй как раз часто живет возней, дрязгами, крючкотворством. И наоборот, для плодотворной деятельности нужно освободиться от суеты, чужой и своей. В эсюхии классического периода нет, однако, ничего от углубленного молчания позднейшего православного исихазма: она мыслилась прежде всего как свобода от житейских забот, например как безмятежность участника праздника или пира. Регулярные массовые пиры более или менее религиозного или

политического характера были в отличие от дружеских пирушек своего рода обязанностью гражданина, а никак не предметом выбора или личного решения, поэтому современному понятию досуга не вполне соответствуют. Впрочем, нынешние развлечения разве не принудительны?

Понятое как состояние граждан спокойствие души – это и противоположность гражданской войне, мир. В период нарастания афинского империализма эсюхия стала паролем пацифистов, врагов экспансии. И дело мира-покоя нужно было защищать, вплетая свой голос в гвалт народного вече, чтобы прыткие и задиристые не навязали тебе свой гиперактивизм, пока ты вкушаешь благостное ничегонеделание. Поэтому и философы, видя в досуге гаранта спасения полиса, понимали его то как спокойствие души, то как политическую активность.

Только поздний Аристотель, после смерти Александра удалившись от административных дел и Афин, смог целиком предаться подлинному досугу (читай: работе) и провозгласить, что досуг – это цель всякого, а не только богатого, человека. Как цель войны – мир, так цель занятий – досуг. Если нужно быть способным воевать и работать, то еще больше – жить в мире и досуге. Вплоть же до Аристотеля досуг оставался уделом имущих. Согласно «Трудам и дням», трудиться нужно всем, вот ведь и цари не бездельничают, но постигают Зевсову справедливость и вершат суд сообразно ей. Трудовая этика демонстративно – и подозрительно – настаивает на своей универсальности. На поверку у гесиодовского крестьянина оказываются батраки и слуги. Он, конечно, делит с ними тяготы преодоления материала. Но забота воспевать труд, а также следить, чтобы никто не отлынивал от воспеваемого им блага, все-таки ложится исключительно на его плечи. Равно как и бремя досуга. Кому этика труда, пришедшая через две с лишним тысячи лет (правда, ненадолго) к трактовке труда как самоцели, а кому эстетика досуга, удел имущих и богемы, т. е. тех, кто считает, что бедность – еще не основание для того, чтобы не стремиться к жизненному идеалу богатых.

Афины стали, возможно, первым городом, в котором организация досуга стала государственной заботой. Перикл говорит у Фукидида: «Мы предоставили в качестве средства от усталости многочисленные развлечения: состязания и религиозные праздники сменяют друг друга целый год, а повседневное пользование роскошными сооружениями прогоняет печаль». Однако остановись греки на этом, не случилось бы никакого греческого чуда. У рационалистического максималиста Сократа определением досуга становится наилучшая

деятельность, которую может выбрать человек в данный момент. Если не наилучшая, значит, выбор ее был несвободен! Праздношатающийся болтун в глазах врагов, Сократ в глазах учеников освобождает себе время для титанических философских деяний. И становится моделью… для политика! Если спокойно-праздный гражданин (apragmôn, hêsuchos) следит за общественным благом, то и философ занимает свой и учеников досуг подготовкой к самой важной деятельности – политической. По Ксенофонту, свободное время нужно, чтобы не упустить самое главное. Он мечтает для Афин о жизни, целиком отданной досугу (ибо обеспеченной добычей серебра и торговлей; правда, на рудниках Лавриона и на веслах все же придется трудиться рабам), а значит, физическому и умственному самосовершенствованию граждан. Программа платоновских «Законов» детализирует по сути ту же мечту.

На закате жизни Сократа и, вероятно, не без его влияния произошло (детально изученное Э. Вельскопф, Л. Картером, и особенно П. Демоном) судьбоносное изменение семантики слова scholê. Оно стало обозначать не праздный досуг, а учебу, любознательное занятие для ума, что затем дало и школу, и схолию, и схоластику. От времени «свободного от» – ко времени «освобожденного для». В различении досуга и труда появились и обертоны любимой философской проблематики души и тела. Поэтому на постижение блага и иных идей тратили досуг только души, достаточно свободные от своих тел. Другим оставались, как и сейчас, развлечения, зрелища: сплетни, шопинг, петушиные бои, попойки и оргии, диета и прочая забота о здоровье (все это резко осуждается суровым платоновским «Государством»).

У сегодняшнего шестого, виртуального, поколения людей – свободного времени почти как у обитателей Олимпа. Но его бездеятельность во многом вынужденная. Нынешняя наследовавшая грекам цивилизация все меньше обременяет человека трудом и все меньше учит его занимать самого себя. Аскеза отброшена вместе с христианством, а самосовершенствование – с Просвещением. Поэтому любое лишение ощущается как испытание, а каждое недоступное развлечение принимается как оскорбление вершине творения. Европейцы и сейчас раздираемы все теми же двумя желаниями: высвободить время от труда и быта, чтобы заняться политикой или же послать все и «позаботиться о себе». Но, по мере того как политика теряет свою роль, ища нового – скромного – места в новой экономике желаний (и просто экономике), стремление заниматься ею будет угасать. Пока какие-нибудь новые потрясения не поставят ее опять во главу угла. Сколько бы

европейцы ни вписывали христианство в свою конституцию, они остаются – да что там: все более становятся – языческими греками. Досуг – их последняя религия, которая завтра окончательно задвинет христианскую борьбу за занятость.

Умножая скорбь

В силу некоторого симпатического соответствия между макро– и микромирами общество относится к образованию, как родитель к ребенку – со всей свойственной этому отношению непоследовательностью. То «побыстрее!», то «спокойно!». То «займись чем-нибудь!», то «ничего не трогай!». То «не носись, как угорелый!», то «побегай, разомнись!». Свой ребенок то лучше, то хуже других. То он должен стать самым-самым, то пусть только будет здоров. То его натаскивают и пичкают изо всех сил, то оставляют в покое: всё равно как-нибудь вырастет.

Так и с системой образования, в том числе высшего. То общество (а в Европе читай: государство) экономит на ней, то «нам для тебя ничего не жалко». То хочет, чтобы из ее горнила выходили готовые личности-специалисты, то «лишь бы по улицам не слонялись». Она всегда вызывает нарекания самого противоположного свойства. То она не готовит к жизни, то слишком рано профессионализирует. То перегружает, то недогружает, то слишком развлекает, то недостаточно увлекает. Впадает то в элитизм, то в уравниловку. То не формирует гражданина, то не дает знаний.

Главное отличие вуза от школы состоит в том, что учащийся становится совершеннолетним, и общество начинает сомневаться в полезности дальнейшего удержания его в иллюзии, что Дед Мороз существует. То есть, что мир развивается в полном соответствии с планами и идеалами общества и под его полным контролем. И в частности, общество колеблется, когда – до или после факультета – признаться учащемуся, что не точно знает, зачем заставило его учиться. Да общество и самому себе в этом не признаётся.

За одно послевоенное поколение высшее образование качественно изменило характер. Перестало быть элитарным. Стало доступным до банального. Отказалось от вступительных экзаменов. Побуждать детей к повышению образовательного уровня стало стратегией всех семей, какого бы слоя или происхождения они ни были. С 1955 к 1970 году инвестиции в высшее образование выросли в Европе в среднем в 15 раз; потом несколько сократились, но затем снова начали расти или стабилизировались. Будучи почти общедоступным, диплом о высшем образовании, тем не менее, стал гарантией если не прямо профессионального успеха, то во всяком случае получения работы. Само собой разумеется, что профессия приобреталась один раз и навсегда.

По сути, европейская модель высшего образования гораздо ближе к советской, чем к американской (разнообразие вузов, с преобладанием частных, от бесплатных до очень дорогих, с конкурсом от отсутствующего до крайне селективного и с соответственным качеством обучения) или японской (несколько госвузов высокого уровня с чрезвычайно трудным конкурсом и преобладающим большинством частных вузов). Европейская модель характеризуется почти целиком государственным финансированием (даже частных вузов), сильным госконтролем (даже над частными вузами), практически свободным приемом и бесплатным или недорогим обучением.

По сравнению с советской моделью, из европейской исключены, главным образом, два взаимосвязанных элемента: расчет числа мест на факультетах в соответствии с потребностями хозяйства, о чем сожалеют европейские экономисты, и система распределения выпускников после окончания, о чем сожалеют европейские выпускники. При всей финансовой зависимости от государства европейский университет сохраняет относительную автономию, некоторую, пусть и ограниченную, экстерриториальность. Стратегически это дало ему возможность жить без оглядки на развитие общества, роскошь, за которую вскоре пришлось платить выпускникам. К началу 90-х годов количество безработных дипломированных специалистов достигло числа безработных рабочих. Выяснилось, что университет – это последняя станция в жизни человека, где государству еще удается изображать довольно полный контроль. Потом суггестивная власть Деда Мороза (т. е. обаяние идеологии госблагоденствия, которую университет излучает в благодарность за массивные вливания) вдруг кончается – и выпускник свободен, как птица.

Было бы наивно ожидать, что индустриальный закат не отразится на состоянии и самом статусе образования. Однако государство по-прежнему мечтает во имя святого равенства поголовно аттестовать на зрелость и, упорно делая вид, что «всё идет штатно», продолжает бездумно гнать на факультеты миллионы заведомо «лишних людей». Молодые идут, но интуитивно улавливают ветер перемен и реагируют сообразно: например, в самый разгар очередной технологической революции вроде совсем нелогично отворачиваются от точной науки. Лучшие старшеклассники еще по привычке и под давлением родителей и учителей выбирают «естественно-научный профиль», но просто чтобы лучше просочиться через один из фильтров для отбора элиты. О научной же карьере всерьез помышляет ничтожное меньшинство. Даже все более и более скромные из-за

сворачивания промышленности потребности в технических кадрах не удовлетворяются внутриевропейскими силами. Жалобы на нехватку инженеров стали хроническими. Правительства, всеми силами поощряя приток молодежи на научные факультеты, не доверяют этим своим мерам и жонглируют иммиграционной политикой, чтобы заманить квалифицированных инженеров, техников, технологов, информатиков из младоиндустриального и третьего мира, с соответствующими последствиями для этого последнего… И без того слишком малочисленные свои норовят утечь за кордон. Наряду с привычным адресом – в США – появляются и новые направления утечки: Индия, Китай… Однако там промышленный бум уже повлек за собой и бум университетско-политехнический, который, помноженный на бодрую демографию, скоро и вовсе изменит образовательную карту мира.

В Европе зато неустанно растет пропорция словесников-гуманитариев-обществоведов. Мотив здесь простой: раз учеба все равно не даст мне работы, тогда я хотя бы выберу точно то, чего мне хочется. В чем нельзя попрекнуть абитуриента, так это в прагматизме: его выбор объясняется желанием приобретать «общую культуру», а никак не овладевать навыками, нужными на – впрочем, вялом – рынке труда. Гуманитарное знание стало бравировать как раз своей бесполезностью, своим отрывом от низменных материальных интересов. Оно снова представляет себя элитарным, пусть это и элитарность массовая. В отношении к гуманитаристике опять проявляется близорукость европейских стратегов, а также генералов и маршалов высшего образования: ее держат в черном теле, вечно угрожают бюджетными урезаниями, требуют, чтобы она приносила копейку или хоть затянула пояс на следующую дырочку – вместо того чтобы увидеть в ней будущий потенциал. Гуманитарное знание указывает судьбу всему европейскому высшему образованию: вытесненное из хозяйственного цикла, оно должно вернуться в него, но уже в новом качестве – как часть «общекурортного дела». Рухнув как средство профессионального успеха, университет может и должен предлагать себя как самоцель: как способ стать образованнее, умнее, а следовательно, жить – страдать и радоваться, умножать скорбь и наслаждение – глубже и полнее. Найдется при этом работа – отлично, не найдется – тоже хорошо! Европейца в эту религию обращать не надо, он уже там. Но и заманить молодых неевропейцев есть больше шансов именно у гуманитарных факультетов. По крайней мере, пока не делокализовались музеи, театры, концертные залы, библиотеки и архивы, и пока Европа являет собой огромный и уникальный

кампус – только не поле, а лес, тот «лес символов», о котором говорил Бодлер.

Конечно, здесь есть риск того, что такая гуманитарная приманка начнет выдавать себя за воплощение вековой мечты о единой науке, в которую сольются все «бесполезные» науки – от филологии до истории – в размерах, конечно, ликбезовских. Называться она будет, как вы уже догадались, European Studies, à la пресловутая культурология, которая преподается на каждом углу в России.

Но если вовремя спохватиться, то можно не все потерять. Университет должен понять, что кует теперь не просто специалиста в человеке, а человека как строителя своей жизни и как чувствилище к счастью. Поэтому в любом студенте нужно воспитывать автономного деятеля, руководителя, пусть, как правило, над одним собой. Он должен уметь приказывать, рассчитывать, рисковать, проигрывать, брать на себя ответственность, придумывать новые решения и, разумеется, подчиняться себе. Это, кстати, абсолютно отвечает экономическим тенденциям: устойчивость средних и малых фирм по сравнению с крупными, распад патерналистских уз, индивидуализация профессиональных траекторий… Вуз должен готовить к долгой и непредсказуемой жизни, где учебы будет больше, чем работы, давать вместе с незыблемыми азами способность отвергать прежние очевидности и гибкость к восприятию принципиально нового. Мало воспитывать гражданина, надо еще растолковать студенту, что государство, быть гражданином которого его воспитывают, уже никогда не сделает для него то, на что прежде он мог твердо рассчитывать, и что ему, студенту, предстоит стать членом многих подвижных и изменчивых сообществ, но, главным образом, гражданином мира с царем в голове.

Рево – плаво: как регко пелепутать

Маркс умер, Ленин умер, и современным «левым» что-то нездоровится. В час, когда стало хорошим тоном напоминать, что ни одна цивилизация не вечна, кризис принял явно экзистенциальные черты. Вопросы «смертно ли левое движение?», «смертны ли профсоюзы?» придают коллоквиумам или книгам, осеняющим себя такими названиями, тональность более чем похоронную. Вот уже тридцать лет как европейским левым не хватает идей, и обвинения в безыдейности стали расхожей монетой в лево-левых дебатах. Чтобы понять, за что бороться, надо бы по возможности объективно осмотреть поле брани. Но у левых глаза разбегаются: нужно оглядываться и на избирателей, и на Брюссель, и на светлое прошлое и опять и снова на избирателей.

Современная левая идеология исходит с различными вариациями из марксистского, в целом пролетарского, шаблона. Однако Маркс меньше всего считал пролетариат константой истории и удивился бы, узнав, что через полтора века после его первых работ кто-то полагает статус рабочего класса неизменившимся в мире, в котором изменилось, кажется, всё. Сегодня забывается и то, что марксизм ориентировался на пролетариат вовсе не из гуманистических соображений (на то была религиозная и светская благотворительность), не как на самую обездоленную часть населения (сельхозбатраки или люмпены были беднее), но как на самый динамичный и потенциально самый сознательный класс, способный стать движущей силой всего общества и революционизировать его.

Здание этой пролетарской идеологии дрогнуло задолго до развала социалистической системы и до начала конца индустриальной эпохи в Западной Европе. Первой трещиной был феномен пролетарского национализма, увенчавшийся двумя мировыми войнами, а между ними – приходом к власти в Италии, Германии и других странах рабочих фашистских партий. Индустриальный закат окончательно спутал карты европейским левым. Верность идеалам и кумирам мешает им увидеть новые линии социальных разрывов. Конфликт между бывшими-трудящимися-а-ныне-акционерами Севера и их жадными до работы южными коллегами частично разыгрывается и поблизости, т. к. Юг представлен на Севере в лице легальных и нелегальных иммигрантов, кандидатов в иммигранты и пр., пополняющих растущую армию местных беднеющих и бедных. Левые реагируют на эти процессы рефлекторно, без минимальной

мыслящей дистанции. В результате пролет-шовинизм после косметического ремонта и перед лицом новой «желтой опасности» допущен в приличное общество. Левые почему-то аргументируют «от Буша»: раз Бушу можно быть протекционистом, то можно и нам. Тогда почему бы левым не переименоваться сразу в неоконсерваторов? Мир избавился бы хоть от одного своего заблуждения. У левых сегодня нет никакого интернационального видения, никакой внешней политики, кроме общедипломатической возни по защите своих национальных интересов от близких и дальних конкурентов, а заодно никакого видения истории, никакой завалящей философии (или антифилософии) истории.

Последняя отрыжка пролетарской левой – профсоюзы. Их стратегии слеплены по модели крупных предприятий, которые как раз по большей части и уплывают навстречу восходящему солнцу. Профсоюзы вообще редко снисходят до индивида, они еще заняты классом, не знают, что делать с индивидуализацией, мобильностью производства, частичной или прерывистой занятостью, с женщинами, безработными, молодежью. Механизм сопротивления фатально не поспевает. Лидеры жалуются на утрату популярности профсоюзов, на то, что к ним обращаются в последнюю секунду, когда сокращения и закрытия уже необратимы, жалуются на старение, опережающее старение общества в целом.

Зато тип профсоюзной реакции остался прежним: жестким, непреклонным. И тем более, чем более заполоняет дискурсивную сцену понятие «гибкости». Социолингвисты, изучившие эволюцию использования этого слова в текстах приглашений на работу, отмечают, что сначала оно обозначало качество, ожидаемое от секретарши, потом – вообще от женского персонала, чтобы потом стать самым востребованным на рынке труда качеством. С одной стороны, конечно, хорошо, что перед лицом этой новой капиталистической добродетели профсоюзы остаются верны идеалам справедливости, гуманизма и пр. Но, увы, если трудовое законодательство и профсоюзы слишком артачатся, экономика легко и вполне легально ускользает от их обременительного контроля. Сегодня фирмы всё меньше пользуются трудом полноправных работников, а обращаются к целому сонму неполноправных сотрудников и работников других структур, отношения с которыми регулируются не трудовым законодательством, а коммерческими договорами – к субподрядчикам, временным и. о., независимым профессионалам, сдельщикам, контрактникам, стажерам и т. д.

В этих условиях левым предстоит не столько придумать свою

политику, сколько переосмыслить место политики вообще, если она не хочет довольствоваться простым экономическим «хвостизмом». В условиях виртуализации экономики политика в целом рискует превратиться в деятельность затхло-провинциальную. Капитал динамичен, виртуален, текуч и номадичен, тогда как политика оседла и консервативна. Взять хоть чисто пространственно-адресную сторону дела. Политик живет на месте; если часто ездит, то часто и возвращается, тогда как современный капиталист (вслед за современным капиталом) не знает отечества. Прописка в налоговом рае, холдинг в одном, проживание – в трех других местах, физическое присутствие – в самолетах. Регламентация капитала на круг отстает от его реальной динамики. Экономика и политика эмансипировались друг от друга, образовали два мира со специфическими законами. В каком из них живут сегодняшние рядовые европейцы, если учесть, что категория классических стационарно-оседлых автохтонных избирателей составляет местами меньшинство? Перед лицом этих перемен удивительно ли, что сплошь и рядом правые присваивают социальные предложения левых и предлагают идеи, объективно более смелые в своей левизне? Им не на кого оглядываться, зато им предельно ясна важность ставок.

Поэтому они и отыгрывают у левых молодежь. Сексуальное освобождение 60– 70-х годов насытило левую идеологию мотивами наслаждения, сделало ее, что называется, sexy. В результате чего это поколение не умеет стареть, болеет ювенильностью, избегает педагогического бремени и, в частности, не пытается объяснить молодым эволюцию мира и левой идеи в нем. Никакая смена поколений вообще не предусмотрена этими вечными детьми Вудстока в их вечных джинсах. Их культ пролетариата – из той же оперы. Им не мешает, что современный музеифицированный рабочий сверхзащищен социально – в отличие не только от далеких азиатских собратьев, но и от родной молодежи, которая, получив диплом, годами мается в качестве бесплатных стажеров и подмастерьев и получает в наследие преимущественно разочарование и пустоту. Сегодняшние 50-летние левые – первое поколение левых, которое исповедует не какой-нибудь проект, пусть самый утопичный, а нарциссичную ностальгию по своей молодости, которую они возводят в ранг золотого века. На практике это выливается в конвульсивную стратегию «удержания завоеваний». Мир уже не нужно изменять, нужно только пытаться удержать в апогее, который счастливо совпал с оргией их молодости. Мир все равно изменяется? И не в лучшую сторону? Мы тут ни при чем.

А может быть, не так плохо, что мир не ждет, пока левые

изменят его.

Калечимся и лечимся

Закрыв индустриальные скобки, передав эстафету господства на суше и на море, в экономике и политике, европеец возвращается к занятию, которое, по мнению древних, должно было считаться самым главным для человека – к заботе о себе, epimeleia heautou. Умеет ли он заботиться о себе?

Греческие философы, Пифагор, Сократ – Платон и Эпикур в первую очередь, рассматривали своё дело, философию, как упражнение в заботе о себе. Последующая история философии стала сначала историей удаления от, – потом историей возвращения к этому проекту. После христианского забвения себя, после титанических трудов системостроительства, изощренных попыток объяснения мира в целом, анализа познания, анализа и критики социальной практики философия – в той мере, в какой для нее еще осталось место вне университета – снова становится тем, зачем была придумана: упражнением в заботе о себе. Поиск истины не отменяется, а перемежается (а во многом и совпадает) с аскезой, уединением, отрешением, отстранением, очищением-редукцией, отвлечением-абстракцией, чистым созерцанием, практиками, вовлекающими всю душу, а не только ее рациональную часть.

Сегодня, как и в древности, это по силам меньшинству. Раньше только у единиц был необходимый для этого досуг (а значит, средства), теперь же только единицы умеют заботиться о себе. Пока все еще статистически доминирует забота о тебе. После веков социального натаскивания-дрючения европейские пастыри (религиозные пророки, харизматичные политические лидеры) ушли в отставку, прихватив с собой сам институт пастырства. Стало ли от этого легче пастве? В большинстве своем она не хочет и не может быть предоставленной самой себе: «Дяденька, жить-то как?» У современной заботы о себе мало веры в достижимость счастья, но много дефицита опор и вех. Само «я» становится не столько субъектом, сколько эрзацем ориентира. Мы, мягко выражаясь, уже не вполне уверены в благотворности нашего вмешательства в мир, и оборачивая наш активизм на себя, пытаемся таким образом обезопасить мир от возможного вреда. Мы все меньше понимаем реальность: науку, технологию, экономику, политику – и, обращаясь к себе, ищем опоры в знакомом (даже если и вовсе не известном) объекте.

Тягостное беспокойство сегодняшнего европейца – беспокойство нерешительности. Для воли к решению ему не хватает просто желания. При этом на земле Европа остается едва

ли не самой уникальной райской территорией. Если где-то история человечества и увенчалась созданием условий для блаженства, то, казалось бы, здесь: для счастья, как нигде и никогда, объединены технологические, политические и культурные предпосылки. В неслыханных прежде масштабах завоеваны: демократия, свобода, максимальное облегчение труда, быта, эффективная медицина, беспрепятственное приобретение знаний. Результат? Ацедия, уныние, безволие, неохота к чему бы то ни было, депрессия. Суицид остается бичом европейца, преимущественно молодого. Точные цифры в этом вопросе невозможны: львиная доля медикаментозных передозировок не регистрируется как попытка самоубийства.

Цивилизация лечит и калечит одновременно, порой одним и тем же. Целая армия социальных работников мобилизована на снабжение кислородом нижней части социального айсберга. Социальная помощь есть не что иное, как совокупный орган по уходу общества за собой. Сегодня этот институт разветвляется, обрастает рефлексивно-дискурсивной машинерией, постепенно превращаясь в практическое приложение всех наук о человеке, призванное заштопывать-залечивать урон, нанесенный наиболее уязвимым членам общества. Сегодняшняя забота о себе все больше сближается с уходом за тяжелобольным. Конечно, философия давно уже рассматривала человека как принципиально больного (или грешного). Стоики трактовали свою школу как врачебный кабинет: «Вы хотите изучать силлогизмы? Подлечите сначала свои раны».

Уже в Новейшее время – важный симптом – никто не отличает лечебный эффект от облегчения страдания. Забота об этом отошла на второй план. Эпопея LSD немало поспособствовала стиранию этого различия. Миллионам далеко не только гиперактивных детей (больше, правда, в Америке, чем в Европе) прописывают «пилюлю послушания» (риталин), явно предпочитая внешний эффект нормализации поведения врачеванию души. Это же относится и к «пилюле счастья» (прозак), и к сотням сходных препаратов. Но разве не повторяется здесь сценарий отвержения ars erotica в пользу scientia sexualis, столь свойственный дисциплинарно-аффективному развитию западного общества?

Однако в индустрии заботы о себе у науки немало конкурентов: не прекращаются споры психоаналитиков с психотерапевтами, мастеров слушания с мастерами слова, их обоих с когнитивистами-психофармацевтами… Забота о себе не без основания воспринимается как проблема политическая. Регулярно возникает вопрос о легальном статусе психотерапии и

психоанализа. Недавно вышедшая во Франции «Черная книга психоанализа» и последовавшие за ней дебаты показали неспадающий накал страстей и отсутствие малейшей общей консенсуальной базы в вопросах душеврачевания.

Медицина сегодня конкурирует с гигантским и постоянно обновляющимся разнообразием более или менее безобидных wellness, талассо– и ароматерапии, с техниками медитации, расслабления, самовнушения, изгнания стресса и прочих демонов, а также с процветающим рынком эзотерики. Для современного обывателя объяснять себе мир эзотерически стало так же удобно и естественно, как объяснять его научно – во времена гуссерлевского «Кризиса европейских наук», и политически – после 1968 года. Большинство современных европейских служащих истолковывает свои отношения с шефом в терминах «энергетического вампиризма». Парадигма «властных отношений» явно потеснена.

Новизна ситуации, пожалуй, в том, что если прежде страждущий лечился от прошлого (плохая наследственность, патогенное детство, невротическая Ur-Szene), то сегодня человека нужно лечить от будущего, которое перестало сулить исполнение чаяний, а, наоборот, угрожает в лучшем случае неизвестностью, а в худшем – известностью. Известными и предсказуемыми конфликтами, кризисами, дефицитами. Хрущевское обещание коммунизма не было взбрыком сумасшедшего, но особой артикуляцией общего для всей цивилизации (и европейской уж всяко) ожидания рая не за горами – ожидания, которое если не навсегда, то надолго покинуло европейский субконтинент. Стоическое примирение с настоящим-как-результатом-прошлого – лишь разминка по сравнению с куда более сложным упражнением, к которому принуждает субъекта новый век. Оно состоит в примирении с угрожающим будущим.

Эти вариации на постиндустриальную тему непозволительно удаляются, как может показаться, от осевого сюжета. Не заразился ли автор от своего предмета курортной расхлябанностью?

«Вот и теперь я опять далеко отошел от темы, но, кажется, такова уж судьба этих записок, что, будучи неспособны довести до разрешения одну какую-нибудь проблему, они, скорее, ассоциативно и случайно нанизывают приходящие в голову идеи. Но, может быть, – думаю я себе, – и эта манера относится к психологии курортника».

«Курортник» Германна Гессе, «заметки об одном баденском курсе лечения», написанные в 1923 и изданные в 1925 году, из которых взята эта и последующие цитаты (русского перевода под рукой не оказалось, перевожу сам), стали и в Европе, и в России предметом неброской читательской любви, сродни скрюченному ревматику с кислым лицом, незаметно переводящему дух в тени величественного Степного Волка и импозантного Магистра Игры. Формула «мы, курортники», встречающаяся с первой же страницы записок, тоже не тянет на торжественность знаменитых «мы, филологи» или «мы, позднорожденные». Мог ли знать автор этого безыскусного курортного дневника, какие многомиллионные массы узнают себя в этом «мы» через три четверти века?

Напомню еще-позже-рожденным читателям Третьего тысячелетия, что в те далекие времена, чтобы поехать на курорт, нужно было быть больным. Как и любой автобиографический текст, «Курортник» вовлекает читателя в игру узнаваний и растворений. Ловлю себя и я на радости от того, что меня, точного ровесника Гессе к моменту его баденского лечения, далеко еще не так скрутили подагра, ишиас, ревматизм или как их там сейчас называют врачи. Впрочем, зависть была бы уместнее: Гессе, называющий себя здесь пожилым, alterer, и не раз в своих заметках чуть не по костям себя собирающий, прожил после этого еще 39 лет.

Он и сам сначала радуется, черпая из зрелища своих собратьев по несчастью если не здоровье, то утешение: все они страдают больше меня, у всех у них еще более опасливая походка, еще более беспомощная и плаксивая мина, все они передвигаются с забавной припадающей тюленьей грацией. Всем им должно бросаться в глаза, как ловко я поднимаюсь по улице, как мало и только разве для забавы опираюсь я на палку, на которую снизу не прилеплена, как у них, эта отвратительная резиновая блямба.

Моя радость равносильна, впрочем, моему состраданию. Бедолаги! Жалею и люблю вас, тюлени, но, что поделаешь, чувствую себя молодым и здоровым. Спасибо тебе, курорт!

Гордый своей беспощадной догадливостью, читатель раньше рассказчика обнаруживает двойную ловушку его хода мыслей: по-видимому, другие курортники так же видят в нем источник злорадного утешения и, с другой стороны, он наверняка замечает на улицах только более, а не менее его страждущих. В первые дни он даже полагал, что все пешеходы без палочек – вовсе не курортники, а простые жители Бадена!

От чего окончательно излечивает курорт подагрика Гессе, так это от прямолинейности и однозначности: «чем более негнущимися становятся наши конечности, тем острее нуждаемся мы в гибком, двустороннем, биполярном способе мысли». В упавшем листе герой видит напоминание о бренности, «перед которой мы содрогаемся, но без которой ничто прекрасное не было бы возможно. Удивительно, как соревнуются и определяют друг друга красота и смерть, желание и преходящесть!» Диалектика, к которой болезнь принуждает курортника, заставляет его во всем вычитывать двойное послание: «человеколюбивый устроитель многочисленных скамеек» был глубоким философом и ироником, раз он напоминает курортнику и о его потребности в покое, и о необходимости движения. Для того он и сделал их из железа, чтобы курортник на них не засиживался.

Да, без диалектики курорта не понять. Если внимать только здравому смыслу и позитивной науке, то для выздоровления нужны лишь горячие ванны, спортивные упражнения и строгая диета. Но для курортной диалектики, умудренной возрастом клиентуры, такое решение было бы слишком юношески-прямолинейным. Ванны – обязательно, упражнения – как хотите, а вот излишнее спартанство ни к чему. Баден ведь испокон веку славится не только водами, но и вкусной, роскошной кухней. Зачем обделять себя ею? Гастрономическую дисциплину побоку, курортники два раза в день предаются пирам куда более пышным, чем в обычной жизни, явно переча усилиям врачей и вод. Записки ищут объяснения этому феномену. Да, курорт призван врачевать. Но возьмись он за дело слишком рьяно, вылечи он всех страждущих, искорени он подагру во всей Германии и Европе – как прикажете поступить с гостиницами и ресторанами, с самим курортом? И мы, курортники, одобряем такой ход мысли. Заслужили ли мы, кроме процедур и курортной скуки, еще и умерщвления плоти? Не-е-ет, мы предпочитаем выздороветь лишь наполовину, зато с приятствием провести хотя бы этот курортный

сезон. Уже позже новокурортная логика внесет в эту диалектическую игру пикантный нюанс: курортник не просто может позволить себе такое дорогое лечение, но и нет такого разрушения организма, лечение от которого оказалось бы ему не по карману.

Да и нужно ли окончательно искоренять недуг? Каждый отдельно взятый «курортник и писатель Гессе», может быть, в глубине души и мечтает об окончательном выздоровлении, ненавязчиво перетекающем в бессмертие, но вряд ли желал бы распространить его и на курортника Мюллера, и на подагрика Леграна, и на особо ненавистного голландца из соседнего 64-го номера. Этот последний стал предметом мучительного упражнения в любви к врагу, которому в течение многих дней и пятнадцати страниц предается наш герой. Но главная процедура, которую он себе прописывает, здоровый труд, к которому он, «заботясь о себе», себя приговаривает, – это наблюдение, сравнение, мысль, письмо, в первую очередь работа вот над этими записками. «Курортник» – это не только плод и свидетельство лечения, но и его инструмент. Курорт как пункт наблюдения за курортом или за миром как курортом. Мы ничего на узнаем о пейзаже, составе вод или архитектуре Бадена. Записки целиком посвящены Psychologia Balnearia. Гуманиста Гессе интересует человек, «средний курортник», сколь бы смешным, нравственно чуждым и даже отвратительным он ему ни казался. Действительно, удивительны нравы курортного народа! Ради пусть несомненного, но маленького удовольствия (чашечка кофе или какао с пирожным) они готовы набиться в тесное, шумное помещение с переслащенно-липкой музыкой и аляповатым злато-мраморно-зеркальным декором и делать вид, что они могут здесь разговаривать, думать и дышать! И те же люди потом делают вид, что интересуются благородной простотой японской жизни, монашеским бытом, заповедями Будды! Наш курортник культивирует свою чуждость курортной среде, свое отличие от толпы курортников. Лучше всего он чувствует себя перед витриной магазина всякой всячины (его вывеска гласит «Подарки, роскошные и шутливые товары»), где он наслаждается своим непониманием назначения львиной доли выставленных здесь предметов. Нет, он воистину не от мира сего.

Проницательный демократический читатель уже предположил, что не один наш, но все курортники могут считать себя заслуживающими и способными занять метапозицию и редуцировать других, включая г-на Гессе, до «среднего курортника». Однако к себе наш наблюдатель тоже отнюдь не милосерден. Сначала нас забавляет контраст между тонкостью,

силой, беспощадностью, всепроникающей иронией авторского самонаблюдения и вегетативно-животно-детским поведением, описываемым этим самонаблюдением. Искомый на курорте разрыв с некурортной повседневностью приводит к отстранению, самодистанции, обессмысливанию любого жизненного проявления: за пробуждением и неизбежным подъемом следуют «глупое одевание, глупое бритье, глупое завязывание галстука, приветствие, чтение почты, решение хоть что-нибудь предпринять, возобновление всей жизненной механики».

Однако что это? Курортник Гессе незаметно пошел навстречу людям, а потом и пустился во все тяжкие: стал попивать пиво, предаваться праздному трепу, не без удовольствия поигрывать в азартные игры, зачастил в киношку, где глаза, привыкшие к отбору и суждению, вынуждены теперь объедаться дармовым потоком образов. Удивительно еще, что он вообще смог завершить свои заметки, ибо он дошел до того, что стал манкировать святостью труда (die Heiligkeit der Arbeit)! А что толку? – вопрошаем мы с курортником Гессе. К чему наблюдать и самонаблюдать? На тот или иной лад вся западная цивилизация только этим и занимается (в лице, например, наук о человеке и обществе). И что же? Изощренная рефлексия не спасает ее ни от кризиса институтов, ни от социальных недугов, ни от насилия. Может быть, червоточина кроется в самой рефлексии? Ведь и совершенное самонаблюдение не спасает от наивности. С горьким сарказмом автор уже через неделю вспоминает свою прежнюю убежденность, что близок день, когда он, покинув гостиницу, выздоровевший и помолодевший, пружинисто протанцует по милой улице, ведущей к вокзалу, чтобы покинуть Баден навсегда. Смешным и досадным предстает ему теперь оптимизм первых курортных дней, когда он с убежденностью туземца верил в излечимость ишиаса и благотворность минеральных вод. Праздность, уныние и обжорство сделали свое дело: ему стало хуже, чем было вначале! Пришла его очередь, кряхтя и по-тюленьи припадая, передвигаться от стены к косяку, а от него к спасительному локтю бравого портье. Врач, разумеется, напоминает о своем предупреждении, что лечение может дать свои плоды не сразу. Действительно, не все так плохо: стоит только доковылять до зеркала, чтобы убедиться, что потухший взор мерцает все же на округлившемся и загорелом лице. Необязательно будет всем рассказывать о реальных резонах этой метаморфозы: кулинарных неумеренностях и кварцевой лампе.

Особенно страдает курортник Гессе от своего морального упадка. На него напала ужасная курортная усталость. «Я целиком состою только из вялости, изможденной скуки, ленивой

сонливости». Совсем недавно он тщился постичь это странное и враждебное существо, «среднего курортника». И что же? Теперь он сам превратился в него. И пусть он с еще большей ясностью презирает и ненавидит этот курортный мир – теперь он ненавидит в нем самого себя. Наш «вовлеченный наблюдатель» стал всё-более-вовлеченным и всё-менее-наблюдателем: «Я стал предаваться именно поверхностной и оглупляющей, пустой и порочной стороне этой инертной курортной жизни». Может, виноват сам курорт? «Не содержится ли что-то в здешних водах, какая-то соль, кислота, известь, что-то, что уравнивает людей, что угнетает всё высокое, благородное, ценное и поощряет всё низменное и вульгарное?»

Безошибочен лакмус благороднейшего из искусств. С одной стороны, ценителю музыки Гессе мучительно слушать в ресторанных залах по большей части фрагменты из «Кармен» или «Летучей мыши». С другой стороны, он извлек урок из того памятного ужина, когда баховская «Чакона» слилась со звоном бокалов и приборов, застольным гоготом и перебранкой с гардеробщиком в невыносимый гвалт. Но невыносимым он был только и исключительно из-за «Чаконы» Баха! Пой, пой, Хозе!

Когда читатель уже не уповает ни на какой хэппи-энд – чудом наступает улучшение! Действительно, спасение сулят нам не разум и рациональное лечение – но чудо и милость, тот путь, на котором не ищут, но находят. Выздоровление пришло, когда наш самонаблюдатель вспомнил, что он не только «курортник и подагрик Гессе, но и чудак и отшельник, паломник и поэт, друг бабочек и ящериц, старых книг и религий, которому мучительно заполнить любой формуляр», когда он понял, что этот Гессе как раз и наблюдает за тем, курортным. Просто этот зачем-то попытался стать тем, «стать тем, кем он не был: сделал из ишиаса профессию, стал исполнять роль подагрика, курортника, клиента гостиницы, подстраивающегося к мещанскому окружению, вместо того чтобы просто остаться собой». Он принял Баден, лечение, среду, боль в суставах слишком всерьез, забыв вместе с прочими курортниками о самом главном. «На мгновение в образе этого ресторана, полного больных, невеселых, избалованных и вялых людей (при том, что я предполагал, что и сам выгляжу так в душах других людей), мне увиделось отражение всей нашей цивилизованной жизни, жизни без сильных побуждений, вынужденно катящейся по установленной колее, невеселой, без связи с богом и бегущими по небу облаками». Писатель Гессе будет, как сама действительность, любить противоречия, столь ненавистные разуму. Он и впредь будет колебаться «между единством и пестротой, между естественностью и духовностью,

опытом и платонизмом, порядком и революцией, католицизмом и духом реформации». И задача донести до любезного читателя эту флуктуацию между двумя полюсами, это двуголосие теперь движет писателем и другом ящериц Гессе. «Курортник Гессе, слава богу, умер, и нам до него больше нет дела».

На последней странице своих записок автор признается, что его литературный идеал – это те загадочные метафоры и аллегории, удавшиеся разве только Лао Цзы и авторам Священного писания, в которых вся мировая целокупность предстает одновременно необходимостью и иллюзией. Он тут же спрашивает себя, не впадает ли в гордыню, выбирая служение таким недосягаемым образцам. Может быть, им лучше и вернее служит последний автор развлекательного чтива? «Такова моя дилемма и проблема».

Надеюсь, что мы не погрешим против чудака и диалектика Гессе, прочитав в его непритязательных курортных заметках трагикомичную притчу, предвосхищающую грядущий – наш – век.

Глас индийских богов

Быть или не быть Европе курортом? Оставаться ей или нет в центре мироздания? А или не-А?

В 1930-е годы Федор Щербатский тщетно пытался привлечь внимание Бертрана Рассела и Анри Бергсона к буддистской логике. Им помешало буддистское неприятие аристотелевского принципа непротиворечивости. Буддистская логика еще допускала, что одной вещи нельзя приписать некое качество и его противоположность, но отказывалась принимать, что всякой вещи обязательно должно приписать либо некое качество, либо его противоположность (принцип исключенного третьего). Согласно буддистам, должно быть возможно и ни то ни другое, ни А ни не-А.

Логика лишь до предела заостряет различие между европейской и индийской мыслью вообще. Двояко-лицемерный жест сопровождал отношение европейской мысли к индийской, начиная с последней четверти XVIII века, когда индийские священные тексты стали переводиться на английский язык: докажите нам сначала, что это философия (то есть, что это похоже на нашу философию), чтобы мы смогли вам сказать, что именно в силу этого сходства она нам и неинтересна. Карма в Европе вошла в моду, поскольку была похожа на рок, зато дхарме пришлось труднее: она не сводится ни к принуждению, ни к свободе, хотя имеет отношение к обоим. А нирвану европейская рецепция XIX века толковала как культ пустоты, ничто, как близнеца европейского нигилизма, отказываясь понимать, как это можно: и преодолевать индивидуальное существование, и при этом не погружаться в небытие.

Если XXI век уже не будет европейским, то это не значит, что он обязательно станет китайским. Рядом с Китаем просыпается его младший азиатский брат, который, по всей видимости, невечно будет довольствоваться почетным вторым местом. Уже опережая его по ряду экономических и политических показателей, Индия обгонит Китай по численности населения к середине века. Китайской окажется, возможно, только первая его половина.

Строго говоря, применительно к Индии еще в большей мере, чем к Китаю, речь должна идти не об индустриализации, а о реиндустриализации. Путешественники XVIII века сообщали о богатых странах с бурной, не в пример европейской, торговлей. Индия и Китай особо славились производством текстиля. На котором, как на грех, Европа решила построить свою

модернизацию. В результате целенаправленной британской колониальной политики к 1900 году Индия вынуждена была уже ввозить текстиль. Сходная участь постигла и индийскую металлургию. Общий объем производства упал здесь с 1750 к 1900 году в 14 раз, тогда как в Европе он в это время вырос в три раза. В начале XIX века доход на душу населения в Индии практически совпадал с европейским, к концу века он оказался в три раза ниже.

Сегодня Индия просто начинает возвращать себе место, отнятое у нее два века назад. Пятилетки плановой социалистической экономики Неру и Ганди заложили основу политической зрелости и будущего экономического возрождения страны, но в сочетании с кастовой системой они породили и неповоротливую, коррумпированную бюрократию с ее печально знаменитой «лицензией Раджи». Решающий толчок к нынешней метаморфозе дали либеральные реформы 1991 года, спасшие страну от острейшего финансового кризиса.

В сегодняшней Индии галопирует не только производство, но и потребление. Если прежде демонстративное потребление было к лицу только принцам и брахманам, но осуждалось и социалистической этикой, и моралью торговых каст, то теперь оно стало общо всем, кто может себе его позволить, превратившись, таким образом, в трансрегиональный и трансконфессиональный фактор национального единства. «Новых индийцев» пока мало: даже если прибавить к 27 миллиардерам всех, кто зарабатывает больше $1000 в месяц, получится всего 35 миллионов, что негусто для миллиардной страны. Зато их число прирастает на 10 % в год. Однако в стране пока остается 450 миллионов тех, кто зарабатывает меньше $1 в день. Сегодня для всех, невзирая на лица и касты, героем и образцом для подражания стал Билл Гейтс. Пару лет назад народ устроил ему прием, на который не могли претендовать махараджи или космонавты. Впрочем, образцов теперь хватает и своих. Достаточно упомянуть Лакшми Митталя, британца индусского происхождения, который не сходит со страниц европейской прессы. Пусть его металлургический концерн имеет заводы в 14 странах мира (но не в Индии), то есть представляет собой типичную транснациональную корпорацию, – в Европе он олицетворяет новую индийскую угрозу и привлекает на свою голову громы и молнии нового экономического патриотизма, если не сказать расизма.

Сакраментальным вопросом европейского и американского капитала становится сегодня: куда надежнее вкладывать, в Китай или в Индию? Предприниматели, работавшие и там и там,

говорят, что в Китае работать легче, чем в Индии: там профессионалы, тут люди. Если в Китае время – уже – деньги, то в Индии оно – еще – вечность. Что отражается и на стиле работы бюрократии: посттоталитарная перестроилась быстрее постсоциалистической. Чтобы открыть завод в Индии, нужно 90 дней, в Китае – только 30. Демократия требует жертв. Для постройки дороги в Китае к деньгам достаточно прибавить директиву сверху, тогда как в Индии нужно еще провернуть десяток-другой судебных процессов.

Зато, как представляется, если китайцы готовы пожертвовать всем во имя своего экономического чуда и соответствующего благосостояния, то индийцам важно, в какую картину мира и индийскости впишется то или иное преобразование, и споры об этом протекают на уровне партийных программ и парламентских дебатов. На одном полюсе – «хиндутва», род индийского негритюда, или «лада», идеология подлинности и расовой чистоты, рассматривающая свою историю в перспективе жертвенной – как череду вмешательств, которой теперь надо положить конец. На другом – видение Индии как страны невероятной способности накапливать различия, не стирая их. Страна была и останется многосоставной и многослойной, но это, кажется, ей не мешает. Вместо американской «кастрюли» (melting pot) Индия практикует другую модель – «салатницы», где разные компоненты соседствуют, не теряя своей особости. Индия не собирается вдруг начать выбирать между А и не-А. Она наверняка еще долго останется светской и религиозной, современной и архаичной, высокообразованной и безграмотной, кастовой и демократичной.

Не без смущения вспоминает европеец свое недавнее убеждение, что модернизация и промышленная революция – удел только Европы и Нового света, и что Восток обречен остаться Востоком в силу самых разных – далее следовал длинный и убедительный перечень – причин: религиозных, культурных… Поддавшись этому убеждению, и сами индийцы до совсем недавнего времени использовали термин «вестернизация» в качестве синонима модернизации. Пока не поняли, что повторения пути быть не может.

Впрочем, в завуалированной форме это убеждение более живуче, чем можно было подумать. Весьма позитивный отчет о глобализации, осуществленный MIT в 2005 году («How We Compete»), уверяет, что пресловутая делокализация ничего не меняет по сути: как и прежде, на нашей, западной, стороне остается интеллект, тогда как на их стороне – одни руки.

Стыдно, дамы и господа. Нынешние молодые индийцы грызут

гранит точных наук с остервенением, напрочь забытым европейской молодежью. Индия стала гигантской империей высшего образования. Ежегодно здесь выпускается 70 000 компьютерных инженеров и 70 000 программистов. Масса студентов учится за пределами Индии, преимущественно в США. Индийцы стали самым многочисленным этносом в американских кампусах (13 % от всех иностранных студентов). 35 % научных сотрудников NASA, IBM, Microsoft – индийцы или имеют индийские корни. Как никакая другая младоиндустриальная страна, Индия не желает повторять зады европейской модернизации и делает решительную ставку на индустрию услуг. Это прежде всего информационные услуги. Всемирный банк, Британские авиалинии, Carte bleue, Nestle делокализуют в Индию свои сервисные отделения, бухгалтерии, call-centers.

В ходе деиндустриализации Европа вынуждена будет претерпеть ломку более болезненную, чем Индия в ходе стремительной реиндустриализации. Модернизация производства, потребления, быта, досуга обставляется здесь мягким консервативным декором: возвращение к домашним ценностям, к набожности, к жизненному циклу, отбиваемому ритмом семейных праздников, к комфорту кланово-кастового кокона. Воспевающая эту нетравматическую модернизацию Bollywood-ская киноиндустрия (1000 фильмов в год) ведет дело по последнему слову мирового маркетинга. Ее целевая аудитория – устремленная на Запад молодежь и ностальгическая индийская диаспора на Западе. И А, и не-А. Явный знак успеха: из объекта туризма Индия превращается и в его субъект. В 2005 году впервые доходы страны от туризма уравнялись с расходами индийских туристов на поездки по миру.

Индия напоминает миру о том, о чем она в угаре неслыханного экономического подъема и не думает забывать. В «Курортнике» уже выздоравливающий паломник в страну Востока Гессе порицает себя за недавнее уныние: и в него впал «я, слышавший глас индийских богов!». Через своих европейских глашатаев, от Шопенгауэра до Beatles, через йогу и аюрведу Индия мягко и неотступно заботится о нас, когда мы сами забываем «заботиться о себе».

Европа и Индия. Брюзга Европа видит свои отношения с Индией как конкурентные, в лучшем случае партнерские. В свою очередь, Индия, переживая острую эйфорию цивилизационного подъема, жаждет не реванша, но шанса – для обеих! – и оптимистически представляет себе Индию и Европу в виде тантрийской пары, в самозабвенном чувственном наслаждении заново создающей мир.

Повод пофилософствовать «Молотовым»

Студенты французских университетов, а затем и ученики лицеев опять захлопнули книжки и оккупировали аудитории. Опять? Ну да, как их отцы и матери (а в особо расторопных случаях, дедушки и бабушки) почти сорок лет назад. Сравнение лестно. В какой степени оно оправдано?

Если верить социологам и педопсихиатрам, «кризис авторитета», ярким выражением которого стал европейский красный май, вызвал у поколения детей «детей 68-го» специфические поведенческие расстройства. Они получили название «синдрома избалованного ребенка» (англ. spoilt child). Механизм его прост: родителям претит запрещать; воспитание сводится к обучению как можно точнее формулировать свои желания; в итоге ребенок очень поздно, после долгих лет вседозволенности, с раздражением и злобой обнаруживает, что у его власти над миром есть границы. Это открытие может выражаться и в физическом насилии по отношению к родителям, которых ребенок обвиняет теперь в самом существовании этих границ.

Во Французской республике этот синдром получил наименование «ребенок-король» (enfant-roi). Что неслучайно. Невзирая на свою глубокую буржуазность, средний француз демонстрирует в своем отношении к обществу, которое он более или менее отождествляет с государством, патерналистские рефлексы ancien régime, слегка обновленные эгалитаристски-социалистическими идеалами. Соответственно каждый уважающий себя французский политик обставляет свой дискурс республиканскими атрибутами, по-бонапартовски засунув правую руку между пуговиц пальто на груди.

Премьер-министр Доминик де Вильпен тоже не стал снисходить до консультаций с подданными. Зато теперь ему пришлось судорожно мотаться по столице и стране в попытках уверить публику в благости своих намерений. Успех его дела отнюдь не гарантирован: за последние 25 лет во Франции сменилось 26 правительств, то есть больше, чем в Германии, Испании и Великобритании вместе взятых. При этом каждое спешило очернить-зачеркнуть написанное предыдущим или – чаще – написать поверх. Законодательство превратилось в палимпсест. Новые законы добавляются к старым, отменой которых никто себя не утруждает. Кто-то назвал такую систему по

имени знаменитого французского пирожного – «тысячелистником» (millefeuille). По-русски – «Наполеон». Разобраться в таком законодательстве не под силу даже специалистам, о чем свидетельствует дискуссия между юристами-конституционалистами, развернувшаяся по поводу нового проекта рабочего договора – КПН, контракта первого найма. Закон запрещает дискриминировать отдельные категории работников, но разрешает дифференцированное отношение к разным случаям, если оно мотивировано; закон запрещает произвольное увольнение, но охраняет свободу предпринимателя преследовать свои цели; закон запрещает всё «чрезмерное» и дозволяет всё «разумное», перекладывая заботу об их различении на здравомыслие правосудия и граждан.

Вильпен решил добавить к имеющемуся «Наполеону» свой листок. Новый проект ставил целью стимулировать трудоустройство молодых, до 26 лет, без профессионального образования, вводя двухлетний испытательный срок, во время которого работодатель сможет беспрепятственно уволить работника. Правительство рассчитывало на новый проект, по меньшей мере, в трех отношениях. Во-первых, КПН должен был разблокировать проблему молодежной безработицы, превышающей в отдельных кварталах 50 %. Проект, таким образом, отвечал на осенние бунты в пригородах. Во-вторых, он должен был удержать родную индустрию от бегства в жаркие страны, пробуждающиеся навстречу солнцу консумеризма западного типа. В-третьих, он сделал шаг в ту же сторону, в какую развивалась практика трудоустройства у европейских соседей, так называемую flexicurity (то есть гибкость плюс гарантии).

Молодежи этот проект не приглянулся. Причем сначала детям среднего класса, университетской молодежи, которую этот проект, собственно, не затронет. Она отреагировала, скорее, не на проект, а на картину реальности, о которой этот проект нелицеприятно напомнил. Если когда-то гарантией трудоустройства был аттестат зрелости (его в 60-е годы получали 10–15 % молодых), то теперь (когда его имеют 70 %) не только он, но и университетский диплом ничего автоматически не гарантирует. С точки зрения трудоустройства университет превратился в отстойник, где можно подождать лет пять-шесть, чтобы выйти на поиски работы ровно с теми же шансами. А половина из тех выпускников вузов, кому удастся трудоустроиться, будет работать не по специальности. Кто виноват в том, что обществу требуется больше бухгалтеров, чем психологов?

Против чего же выступают студенты и лицеисты? С одной

стороны, их возмущает дискриминация молодых, с другой – они опасаются, что условия КПН будут распространены на все профессионально-возрастные категории. Каждая из этих причин понятна, их рядоположенность – меньше, ибо они противоречат друг другу. Нельзя одновременно возмущаться тем, что некая мера затронула только одну категорию населения, и тем, что она потом затронет всех, – разве что саму эту меру признать плохой, к кому бы она ни применялась.

Здесь и выясняется, что молодые люди вообще не видят никакой нужды в этом проекте. Как, впрочем, ни в каком другом, и не только молодые. Современные французы в целом остро недовольны своей ситуацией. По результатам всех опросов, они выходят самым пессимистическим, самым тревожным народом Европы. Однако они не спешат и изменить ситуацию. Из-за привычки к тому, что власть говорит одно, а делает другое, любую реформу во Франции встречают в штыки, ждут от нее подвоха, а в благих речах, эту реформу сопровождающих, лишь находят тому доказательство. Хуже того, любая реформа только кристаллизует недовольство и тревогу: раньше мы не знали, от чего страдали, зато теперь поняли – именно эта реформа нам как раз и не нужна! На знаменах этой ползучей поголовной оппозиции всему начертано: «Всё должно быть точно как раньше, только гораздо лучше!»

Франция ждет короля, который указом вернет ей потерянный рай 70-х годов, предварительно модернизировав его в духе XXI века. Отсюда смутность политического послания волнений, ибо, выскажи его четче, его инфантильность станет очевидной. Но было бы несправедливо упрекать в этом грехе тех, кому он наиболее простителен, а именно студентов, вчерашних детей. Нет, если сегодня во Франции устроить соревнование по инфантильности, то есть по сопротивлению принципу реальности, то победят в нем никак не студенты. Действительно, кто инфантильнее: Ширак, ратующий за единую семью равных европейских народов, но при условии, что Франция будет в ней за старшую? Вильпен с его решимостью привести народ к счастью, не обременяя себя объяснением замысла? Саркози, приводящий в пригороды свою банду (то есть полицию) «вставлять» банде враждебной? Социалисты, которые хвастаются, что раньше Вильпена ввели «молодежные контракты», но забывают указать, что те оплачивались просто из госказны? Профсоюзы с их твердолобой альтернативой: «либо работа с гарантией, либо… пускай китайцы работают»? Коммунисты с их фантастической картиной общества, где предприниматели могут жить при капитализме, а работники – при социализме? Так что студенты

еще недостаточно инфантильны. Вопрос, скорее, нужно поставить иначе, могут ли сегодняшние студенты позволить себе инфантилизм родителей.

По поводу КПН оппозиция обвиняет власть в том, что та предлагает молодежи жить хуже, чем жили их родители. Обвинять же нужно и власть, и оппозицию в том, что они недостаточно ясно объясняют, что в силу многочисленных процессов, которые можно для простоты обозначить термином «глобализация», сегодняшняя молодежь Европы неизбежно будет жить хуже, чем предыдущее поколение. После этого можно задаться вопросом, что делать, чтобы она жила ненамного хуже.

Поэтому в требованиях демонстрантов есть один абсолютно здравый аспект. Если сегодняшней молодежи все равно придется тяжелее, чем сегодняшним взрослым, то почему только она должна отдуваться за «объективный процесс» и быть единственной его жертвой? Если правительство пришло к выводу, что необходимо модифицировать трудовое законодательство, чтобы удержать индустрию от бегства в беззаветно-трудолюбивые страны, то почему бы во имя равенства не предложить всему обществу разделить тяготы этой модификации? Ответ очевиден: взрослое лобби куда могущественнее молодежного, а электоральные и иные издержки от конфронтации со взрослыми куда выше, чем от десятка побитых витрин, не говоря уже о невинно-безвредных забастовках – кого? – студентов!! Да пусть бастуют на здоровье хоть сто лет!

Во Франции молодежь традиционно воспринимается властью не как богатство страны, а как обуза. Вот и теперь правительство нацелило КПН на молодых, потому что именно у них безработица достигла особо высокого процента. Однако этой мерой «позитивной дискриминации» правительство одновременно символически закрепляет молодежь в зоне дискриминации негативной.

Молодые это не принимают, и трудно их за это осудить. Несомненно, с принципом реальности нелады прежде всего у взрослых – у тех, кто чванится «французской социальной моделью», не замечая ее глобального несоответствия нынешней фазе развития мира и капитализма. Мир вступил в эпоху новых, многочисленных и многообразных рисков. Сам характер труда претерпевает радикальные преобразования. Во многих сферах деятельности испытательный срок длится, грубо говоря, всю жизнь. Во многих – как назло, самых динамичных – областях производства работники не хотят оставаться на одном месте больше двух-трех лет. Защитники же французской социальной модели, прежде всего профсоюзы, закоснели в своем

охранительном жесте. Исповедуя идеалы «славного тридцатилетия», они реально защищают и без того наиболее защищенное меньшинство – тех, кто нанят по классическим бессрочным рабочим контрактам. Однако этот кусочек счастливой тверди омывается морем со штормами и холодными течениями: здесь преобладают контракты с вечно временными птичьими правами, бесконечные неоплачиваемые стажировки заради простого украшения своей автобиографии, и просто безработица – как видимая (зарегистрированная), так и все более невидимая (нигде не зарегистрированная и выпадающая изо всех статистик). Предлагаемый правительством КПН – альтернатива этому положению дел, а не всеобщей занятости по классическому контракту, сама возможность которой навсегда ушла в прошлое.

Эта альтернатива, конечно, далека от совершенства, но речь вряд ли идет о конкретном содержании нового проекта. Спор о КПН драки не стоит. Если КПН утвердят, то он не даст ожидаемых правительством результатов, поскольку предприниматели будут опасаться поправок, которые обязательно выторгует оппозиция. Если же КПН будет отменен, для работодателей, действительно желающих нанять сотрудников только на птичьих правах, уже имеются для этого вполне легальные возможности. С педагогической точки зрения КПН – форменная катастрофа, потому что создает у молодежи иллюзию, что правительство пошло слишком далеко, тогда как на самом дело оно пошло слишком близко. Но это правительство и не может пойти достаточно далеко, поскольку оно пытается вписаться в постиндустриальный вираж только за счет низов, сохраняя и наращивая параллельно преимущества наиболее имущих. Поэтому ясно, что любые поправки к КПН, на которые согласится де Вильпен, уже в силу этого не будут приняты улицей. Проблема только в том, что ребенок-король, мечтая о лучшем мире, пока что защищает ригидное трудовое законодательство, которое еще больше урежет его и без того невеликие шансы найти работу.

Разница между этими недавними волнениями и маем 1968 года существенна: тогда господствовало желание разрушить существующий порядок, сейчас – желание вписаться в него. Неизвестно, что сложнее: проблема Франции состоит не в том, что ее капитализм пахнет социализмом, а в том, что он сильно отдает феодализмом. Это специфический французский способ противостоять принципу реальности, диктуемому сегодня все больше экономикой и все меньше политикой. Тупиковость такого пути проявляется, в частности, в нарастающей поляризации молодежи. Как говорят здесь: сломался социальный лифт. В

отсутствие меритократической перспективы все большее число молодых выпадает из социума, люмпенизируется, пополняет банды шпаны, дилерскую сеть. Для своих демонстраций студенты вряд ли искали союза с хулиганами, их сплотил невинный повод – очередной правительственный проект.

Общество долго сопротивлялось, когда кто-нибудь пытался установить здоровье его социального тела, простукав его молоточком. Надо полагать, оно предпочитает, чтобы молодежь философствовала «Молотовым».

Aviator mundi

Писатель и паломник в страну Востока Виктор Пелевин на вопрос интервьюера о том, что он думает о пути, по которому идет Россия, сказал как-то, что не понимает, как одна метафора может идти по другой. Из этого отрезвляющего ответа (или ухода от него) не стоит, однако, выводить, будто Россия одинока и уникальна в склонности к метафорам, с одной стороны, и к романтике дороги, с другой.

Запад очень рано выбрал «путь» в заветную обойму своих ключевых метафор. Европейская наука от своих восточных предшественниц сразу отделила себя тем, что объявила: ее не интересует истина без указания средства, которое к ней ведет, то есть без обсуждения того, что по-гречески называется «методом» (methodos), учением о том, по какому пути нужно идти.

Европеец издавна представлял себя путником, заброшенным-в-мир странником. Современник и симптом модерна – туризм – является гибридным потомком весьма почтенных, а иногда очень древних предков, среди которых кочевничество (горизонтальное, равнинное или вертикальное, горное), охотничья или торговая экспедиция, поездка на ярмарку, посольство к ближнему или дальнему соседу, набег на соперника, колониальный захват, религиозное миссионерство, вылазка по сбору дани, бродяжничество, переселение колонов, годы странствий студента или подмастерья, крестовый поход, вынужденные скитания и добровольная перемена мест. Чтобы стать собой, туризму не хватало только свободного времени и демократии. И конечно, техники, благодаря которой viator mundi смог стать – авиатором.

Слово «туризм» пришло в другие языки из английского, в котором возникло в конце XVIII века. Оно было образовано от французского tour и сначала обозначало бесцельное путешествие по Франции же. Во второй четверти XIX века появляется – тоже сначала в Англии – литература о туристах и для них: «Грамматика туриста», «Оракул путешественника», «Искусство путешествовать», «Как осматривать страну». Во Франции в 1838 г. выходят «Мемуары туриста» Стендаля. Занялась – пока еще робкая и элитарная – заря туризма. Уже первое в мире (и существующее до сих пор) турагентство, основанное в 1851 г. английским столяром и рьяным баптистом Томасом Куком, ставило себе целью приобщить к путешествиям широкие массы, в частности посадив их на поезда.

Характер туризма за полтора века многократно радикально видоизменялся: от элитарного через стадно-конформистский к

нарциссистски-взыскательному. Оплачиваемый отпуск вошел в широкий европейский обиход недавно, между двух войн. Сегодня европеец уже не мыслит без него жизнь, живет от отпуска до отпуска, от выходных до выходных. Само время протекает в каникулярном ритме.

Радикально преобразовалась и сама задача каникул. Раньше, в эпоху преимущественно физического труда, главной их целью был отдых. Когда же наступил, по выражению Джереми Рифкина, «the end of work», эта цель отошла на второй план. Каникулы стали более активными, более спортивными, отвечая потребностям современного туриста к восстановлению утраченной за межотпускные периоды физической и психической формы. Модель «месяц на одном месте» уходит в прошлое. Все больше женщин и мужчин пользуются отпуском для восстановления или видоизменения своего образа: улучшения цвета кожи, тургора, силуэта, мускулатуры… Часто две модели сочетаются, предполагая активное перемещение (поход) до места, где можно предаться относительно пассивному отдыху (пляж). Если раньше от отпуска ждали излечения от усталости, то теперь он должен – пусть временно, пусть иллюзорно – снять то, что обозначается словом «стресс», семантический объем которого продолжает раздуваться за счет все новых и новых европейских и мировых недугов: загрязнения окружающей среды и других экологических бед, угрозы терроризма, энергетического кризиса, новых эпидемий, возникновения working poor, сексуальной нищеты, видеослежки, засилья медиа и прочее, и прочее. Хотя с глобализацией бегство от этих бед становится все более тщетным…

На наших глазах уходит в прошлое и время, когда туризм ассоциировался только с отпуском, каникулами. Сегодня туризм проникает в самое лоно работы – особенно с расцветом так называемого «когнитивного капитализма». У нашего брата ученого и/или университетского преподавателя выражение «академический туризм» еще долго будет отдавать дегтем иронии, но нынешний многуровневый и многоплановый производственный туризм есть неизбежное следствие невиданной подвижности капитала.

На диверсификацию индивидов, их проблем и их ожиданий туризм отвечает встречной диверсификацией. Типов туризма великое множество, и их список принципиально открыт. Можно выбрать между имеющимися или скрещивать их по своему усмотрению, но обостренная взыскательность современного туриста побуждает его к изобретению все новых типов. Можно быть или мнить себя путешественником-первооткрывателем. Или

пляжным гедонистом (сткой). Или стать на пару недель спортсменом (охотником, ныряльщиком, лыжником…). Или эстетом-фланёром. Или литератором (автором путевых заметок или хоть открыток). Можно превратиться в краеведа, этнографа. Или в биографа кого-нибудь великого, по следам которого путешествуешь. Или в члена более или менее симпатичного стада (кэмпинг, турбаза, клуб). Или в изгоя. Или стать антикваром-кладоискателем, или докой в местной истории. Или каликой перехожим, паломником (Мекка может быть реальной или символической, коллективной или индивидуальной, явной или тайной). Или оргиастическим участником карнавала (или другого event'а). Или эпикурейцем, дегустатором вин, сыров, ветчин и других местных кушаний. Наивным обитателем рая (Адамом или Евой). Или беспощадно-проницательным критиком иной социальной реальности. Можно возложить на себя гуманитарную или экологическую миссию. А можно подложить окружающим сексуальную бомбу – в виде себя. Можно стать Рэмбо, иностранным легионером, то бишь военным туристом. Учеба в университете, благодаря Болонским реформам, все больше напоминает такой специальный туризм. Есть категория работников, у которой все большую часть рабочего времени отнимает деловой туризм: посещение коллоквиумов, конгрессов, семинаров, салонов, стажировок, курсов и мастер-классов. Можно заняться исключительно своим здоровьем, выбирая разного рода wellness. Можно, наконец, целиком предаться антитуризму.

Этот последний, антитуристский, тип туризма происходит от дэнди-фланера, но тоже – как и все остальное – на глазах становится достоянием масс. Оказалось, что туристы терпеть не могут туристов. Оказалось, что они жаждут вести себя не как туристы, перестать опознаваться как туристы, не называться туристами, вылезти вон из своей, туристской, кожи. Деловым туристам особенно легко и естественно дается презрение к туристу-отпускнику, который не в состоянии придумать никакого более оригинального дела, как ничего не делать, и которому нужна, чтобы начать отдыхать, полная смена обстановки! Деловой турист отдыхает не отходя от станка (то есть не выключая лэп-топа, пейджера, сотового). Работа его не тяготит и отдыху не мешает. Для полного кайфа он берет с собой часть коллектива – чтобы атмосфера была привычной. Тайная часть удовольствия состоит в этом случае в том, что он чувствует себя в полной безопасности от упреков в неподлинном времяпрепровождении.

Ибо типичная туристическая стратегия европейского образца ставит во главу угла подлинность, Eigentlichkeit, аутентичность.

Ведя между отпусками тип жизни, аутентичность которой никто не ставит под сомнение, потребитель не желает выпадать из аутентичности как раз во время отпуска! Ненависть или презрение к другим туристам – это цензура неаутентичности в себе. В путешествии турист становится на порядок внимательнее к происходящему, чем в обычной жизни. За собой или своим братом-туристом он тоже следит неусыпно-бдительным взором, волей или неволей становясь этно-социо-антропологом, наблюдающим-описывающим не столько аборигенов (будь то вьетнамские крестьяне или лондонские служащие), сколько других туристов и самого себя.

Аутентичность становится новым Граалем, неуловимым и меняющим очертания. Спонтанно-неорганизованный туризм ушел в безвозвратное прошлое, а аутентичное и коммерческое изо всех сил стараются делать вид, что ладят – стоит только зайти в лавочку с вывеской «Genuinità locali». Растет спрос на все более дорогие и изощренные маршруты: более дикие, более защищенные дикой природой или дистанцией. В последние десятилетия авиаохотник ищет фазанов аутентичности на Аляске, в Тибете, в Намибии, Йемене, Центральной Африке, Боливии и Чаде. Он заламывает за нее все большую цену – а она в силу этого перестает быть собой.

К счастью, для массового постмодернового туриста свет не сошелся клином на аутентичности. Большим успехом у туристов в Кракове пользуется экскурсия по местам съемок «Списка Шиндлера»… Неаутентичный повод вспомнить, что Западная Европа недавно познала и тип туризма, существующий еще и поныне в десятках неуютных мест на этой планете, – принудительный.

Континент любителей

Нам сегодня уже трудно себе представить, что же такого провокационного находили современники во фразе Йозефа Бойса (или кого-то другого): «Каждый человек – художник». Ведь очевидно!! Сама очевидность! Если, конечно, с поправкой: каждый человек, который того желает, – художник. Ибо желание индивида – это святое.

С переоценкой трудовых ценностей и с триумфом свободного времени над рабочим стали расплываться границы между профессией и хобби, профессионализмом и любительством. Труд все больше воспринимается как вынужденная мера, принимаемая только за неимением других источников дохода. В то же самое время хобби, некогда приятное времяпрепровождение после работы, уже и раньше требовавшее немалых душевных сил и финансовых усилий, теперь становится весомым фактором в экономике (в том числе и индивидуальной) времени и культуры.

Косвенным и досадным признаком этой перемены выступает, увы, падение качества товаров и услуг, тенденция к приблизительному и сделанному абы как. Принимать свою работу всерьез вышло из моды. Мы не рабы, рабы не мы. Профессионализм перестает быть ценностью, а качество – критерием оценки услуги. Европейцев убеждают, например, ценить фрукты за их яркие цвета, за единообразную форму и размер, за независимость от сезона, за дистанцию, которую они способны пересечь, не портясь, и т. д., но не за вкус. К тому же структура, нам их доставляющая, усложнилась так, что понять, кто мог бы за что в ней отвечать, уже не под силу рядовому потребителю.

В целых секторах хозяйства профессионализм вымывается, уходит, как вода сквозь пальцы, а вместе с ним и представление, что профессия избирается в юности, раз и навсегда, и что вся жизнь кладется на ее алтарь. Тенденция к укорочению рабочих контрактов, к сегментации карьеры, к подвижности персонала, предпочтение, оказываемое обучению-переучиванию молодого кадра без отрыва от производства в ущерб использованию старого – всё это в конечном итоге выливается в неслыханное падение качества, которое бог весть как уживается с конкуренцией. Европеец испытывает это падение на каждом шагу. Целые институты – школа, почта – за считанные десятилетия разбазарили вековой опыт профессионализма, а компенсации в виде «модернизации», «диверсификации услуг», «соответствия духу времени» выглядят крайне малоубедительными.

Некомпетентность госчиновников, архитекторов, библиотекарей… стала банальностью, жаловаться на которую уже неприлично. Стали удивлять, скорее, исключения. Что хирурги, прорабы и пилоты пока, кажется, не затронуты общей волной, – выглядит невероятным шансом. Надолго ли?

Мы уже привыкли к мысли, что квалифицированный штучный труд стал столь же дорогим, сколь и редким. Куда труднее объяснить, почему и модные профессии проявляют ту же склонность: несмотря на перепроизводство информатиков и на жестокую конкуренцию в их среде, найти хорошего специалиста остается делом непростым. Ну, ладно, предположим, что информатика – случай особый. В самом деле, здесь мы часто становимся свидетелями обращения ролей, когда утопающий то и дело становится спасателем. Кто из нас не выступал то в роли клиента, то в роли самозванца-информатика? Гораздо труднее понять, как обществу потребления удалось расправиться с категорией… продавцов! Сегодня процесс вытеснения мелкой торговли супер– и мегасторами и прочими «моллами» практически завершен. Единичный коммерсант не совсем исчез, но его профессия неуклонно сползает в рубрику спортивного интереса. Со своей стороны, большинство «ответственных за продажи» и прочих мерчендайзеров в супермаркетах не прикреплены (по крайней мере, надолго) к какому-то одному отделу, но забрасываются туда или сюда по мере надобности, следуя прихоти графика отпусков и просто графика. Как правило, они ничего не знают о товаре, кроме указанной цены. В лучшем случае такой продавец может составить клиенту компанию в зачитывании вслух этикетки и отважиться на какое-нибудь ее толкование.

Парадоксальность здесь кажущаяся. Наиболее ценимые профессии магического когнитивно-капиталистического треугольника «экономика – информатика – коммуникация» являются с точки зрения личных карьер одновременно и самыми динамичными, если не сказать суетливо подвижными. Именно в этих профессиях частота смены места работы, прерогатив, обязанностей и поприщ достигает рекордной скорости. Но именно в этой сфере некомпетентность особенно агрессивна (может быть оттого, что ни над кем от этого не течет?). Мобильность здесь и причина, и противоядие. Что-то не клеится? No problem. Попробуем другое, по-другому, в другом месте и с другими.

На противоположном полюсе процесса массы творцов-любителей захватили арены, некогда безраздельно принадлежавшие профессионалам – от макетирования книг до

пения, фотографии и прочих искусств. Предустановленная гармония бдит, может быть, за тем, чтобы всемирно-историческое поражение труда компенсировалось всплеском любительской активности? Увы, отношение к досугу не изменилось: хобби люди занимаются по-прежнему ради удовольствия; хорош ли, плох результат – неважно. Главное не побеждать, а участвовать. Редко у кого хобби сочетается с безжалостной требовательностью к себе, со стремлением к виртуозности, к абсолютному мастерству, с утомительными упражнениями и упорным преследованием ускользающего идеала. Не-е-е. Так и удовольствие может пропасть, а ведь в нем цель.

Со своей стороны телефабрика звезд зазывает миллионы молодых на медийный Парнас. Любой подросток знает: что-что, а превращение Золушки в телепринцессу уж никак не может быть доверено любителям. Тут уж к делу привлечены подлинные профессионалы – маркетинга, рекламы, промоушена и прочего пиара.

А талант? Прощай то время, когда дар требовал еще и развития, ухода, заботы, совершенствования. Курортник, в которого превратился современный европеец, использует дар для терапии или для «внутреннего путешествия» как инструмент самопознания или бегства от быта. Работать над своим талантом, ковать свой стиль рассматривается теперь поэтому как непозволительное насилие над естеством, над спонтанностью, над святой и драгоценной аутентичностью.

Оставаясь законченным эгоистом, европеец разнообразит, тем не менее, свое общение, привилегированным местом которого уже не является место рабочее. Конечно, и Интернет сыграл здесь свою немалую роль, но и прежде, уже давно европеец стремился разрушить «естественные» (то есть навязанные) узы (кровь, соседство, работа), чтобы заменить их новым, избирательным, сродством. Так, новые художники сходятся на том основании и при том условии, что взаимно и добровольно признаются художниками. Однозначно полезный для личного творческого начала и для внутреннего самоощущения, этот тип связи распространяется и на области, где его воздействие менее благостно. Он начинает заражать и определенные области науки, которые под рев сирен рентабельности и самоокупаемости предпочитают установить более миролюбивый режим взаимной терпимости ассоциативного типа.

Завтрашняя Европа не будет континентом бездельников или, как говорят, «неактивных». Нет, нет и нет. Она станет, скорее, континентом художников, творцов. Свою лепту внесла в происходящее тотальная виртуализация реальности. Технология

сделала творческий процесс доступным, кажется, каждому. Если для становления музыкантом требуется известное и длительное напряжение, то для провозглашения себя композитором никаких особых трудов не требуется. Знай себе запускай машину.

Да что жаловаться на депрофессионализацию? Мы, художники, друг дружку понимаем.

В общем и целом, прежняя трудовая этика заменена установкой скорее игровой, если не сказать игрока, авантюриста, открывателя. В новом месте работы привлекает уже не вызов, не возможность проявить себя или реализовать свои возможности, а – «опыт».

Естественно, что обращение Европы в мегакурорт, влекущее за собой новый передел зон влияния между трудом и досугом, будет сопровождаться и новыми социальными разломами, и новым неравенством. Совсем недавно иметь работу означало (в Европе) иметь определенный уровень жизни, определенный комфорт. Появление working poor и экспансия этой категории на некогда вполне хлебные профессии – еще одно доказательство того, что труд впал в социальную немилость. Сегодня изрядная часть среднего класса (действительного или мнимого) знакома с нищетой или резким снижением покупательной способности, со стрессом на работе, сверхэксплуатацией, психическим моббингом, постоянной угрозой увольнения и пр. В сочетании с религией заботы о себе и самопоклонением, присущим европейскому индивидуалисту, такая ситуация толкает его искать, как избежать трудового бремени: не посредством лени, воспевавшейся Лафаргом или Малевичем, а через творческое освобождение (оно же освободительное творчество). Непрестанно возрастающее число индивидов полагает себя «работниками зрелищных искусств», а зрелищем – всю совокупность их жизненных проявлений. Это занятие они считают основным, хотя оно еще не вполне освободило их от занятия вспомогательного (то есть собственно труда на жалованье).

И тем лучше! Как бы профессионализировав свое хобби, миллионы людей нашли эффективный и небезынтересный для общества способ заботиться о самих себе, избежать безработицы и депрессии. Качество? Ну далось вам это качество. В канун Великого Освобождения от вековых цепей не будем слишком уж щепетильничать из-за какого-то мелкого «побочного ущерба»!

К тому же труд как таковой не вовсе упраздняется. Он, скорее, преобразуется в категорию «работы над собой», для которой работа в ее прежнем и банальном смысле слова являет собой отныне главное препятствие. До полного оборачивания терминов еще не дошло, но семантические смещения налицо:

теперь уже работники, трудящиеся выступают «пассивной частью населения», рабами обстоятельств и работодателей, тогда как все еще именующиеся «незанятыми» активно занимаются своей судьбой и ее переиначиванием, изобретают себе времяпрепровождение, дело для души или дело жизни, самую жизнь.

Под сенью системы социальной помощи и под суровым взглядом профсоюзных и социальных работников взрастает масса «счастливых безработных» (happy unemployed, glückliche Arbeitslose, chômeurs heureux). Одни – сломленные чрезмерной работой, другие – невыносимым психологическим давлением на работе, третьи взяли тайм-аут, чтобы прийти в себя, четвертые, наоборот, «беззаботные безработные» по убеждению, сознательно живущие вразрез с традиционной трудовой логикой, в которой они видят помеху для личного развития. Опросы показывают, что чем более образован безработный, тем легче он переносит свое безработное состояние, тем лучше умеет обращать его себе на пользу, превращая неудачу в шанс, а жизнь по предписанному сценарию – в захватывающую авантюру с открытым концом. В глазах этих более или менее счастливых безработных принуждение к труду (или, точнее, к демонстративно-напряженному поиску работы) столь же враждебно человеку, сколь и – по видимости, более мягкое – принуждение к потреблению. Всякий, кто стремится ускользнуть от того и другого, вполне заслуживает звания героя, борца, изгоя, субверсивного элемента, подрывателя устоев…

Но раз уж ты «проклятый», то ведь тогда почти и «поэт»?

Ангел истории в отпуске

Пока в Европе безгранично царил дух науки и промышленности, туризм был явлением периферийным и в экономические расчеты не входил. Сегодня гостинично-туристская отрасль находится среди лидирующих по финансовой динамике, многие европейские страны и регионы возлагают на нее немалые надежды, особенно в сфере занятости. Однако, несмотря на наличие многочисленных старых и новых туристских мест и зон, Европа как целое продолжает ностальгически мыслить себя в терминах ушедшей эпохи.

Брюссель пока не представляет себя Симферополем, хотя имеет к курортности отношение столь же прямое. В этом Европа должна перестроиться, если не хочет, чтобы более расторопные и догадливые партнеры навсегда вытолкали ее со сцены.

Европа остается пока главным направлением европейских туристов. От них она получает все еще в десять раз больше дохода, чем от туристов неевропейских. Тенденция последнего десятилетия к кратковременным путешествиям (от выходных до одной недели) указывает, среди прочего, на еще не исчерпанный интерес европейцев к своему континенту. Туризм способствовал эколого-коммерческому сдвигу европейцев в отношении к своей территории. Ландшафт нужно беречь, если хочешь его продавать. Однако, придя во многие города и регионы Европы, туризм изменил их облик не меньше, чем последняя промышленная революция. Поэтому на смену императива защиты окружающей среды от индустриального загрязнения пришла задача охраны пейзажа и населения от туристов; она стала задачей самой туриндустрии, заботящейся о завтрашнем туристском ресурсе места.

Многие туристические регионы Европы смогли стать таковыми именно потому, что не претерпели массированной индустриализации. Им удалось перескочить из аграрной фазы прямо в курортную. Таков случай, например, многих альпийских долин, средиземноморских островов и прибрежных зон. Послевоенный туризм стремительно модернизировал аграрные районы, поднял материальный уровень местных жителей, превратив их самих в потенциальных туристов. Так, массовый туризм в Италию породил – очень поздно, практически только в начале 80-х годов – массовый туризм итальянцев.

Европейские аборигены стоят перед жестким double bind: они должны и обслуживать приезжих на уровне современного интернационального комфорта, и являть им спектакль своей

невинности. С одной стороны, перманентный взгляд туриста воспитал в них самосознание объектов, достойных наблюдения. С другой, они с негодованием обнаруживают, что взгляд туриста, желающий, казалось бы, ухватить жизнь «как она есть», волшебно, но не всегда благотворно, видоизменяет ее. Туризм заставляет шить и носить якобы традиционную одежду, танцевать якобы традиционные танцы, сдвигать местные праздники на удобное приезжим время, устраивать кафе со столиками на свежем воздухе и с музыкантами даже в тех регионах, где такого отродясь не водилось. Церковь, посещаемая толпами чужаков, для местных перестает быть церковью. Архитекторы гостиниц и вилл вынуждены потакать суммарным клише визитеров: единого «средиземноморского», «северного» или «альпийского» типа домов в истории не существовало, но турист захотел, и они появились.

Экономисты новой туристической бранши постоянно сталкиваются с этой классической фигурой: туризм сначала порождает, а потом портит свой объект и в конце концов снижает его туристскую ценность. Особенно это заметно на Ривьере и в старинных городах. Виллы вытесняют местные дома, растущие цены на недвижимость изгоняют местных жителей, которые изначально должны были – вместе с морем, солнцем и скалами или же, наоборот, с местным собором и лабиринтом улочек – являть собой часть социоприродного пейзажа. Туризм способен вывести регион из отсталости, но может оказаться, что отсталость и была его единственной прелестью.

Туризма не было бы без демократии, тем более туризма по Европе, родине демократии. Он стал теперь осью новых социальных переконфигураций. Сначала массы отвоевали себе заслуженный досуг. Потом деиндустриализация предоставила им его в изобилии в виде вынужденного безделия. По статистике, сегодня больше всего работают и меньше всего отдыхают дипломированные специалисты. Разумеется, за малое количество досуга они требуют компенсации в виде его качества, оставляя образовательно-социальным низам сон и телевизор (которые социологические классификации объединяют под одной оксюморонной рубрикой «пассивной активности»). По мере постепенного омассовления некогда элитарных отраслей туризма богатые к ним остывают. Стало исчезать социальное принуждение к путешествию. Некоторые из фронды и вовсе перестали путешествовать. Из факторов, препятствующих поездкам, у бедных на первом месте – соображения финансовые, у имущих – сознательный выбор, антитуристская установка. Из-за деиндустриализации местные власти многих регионов

разворачивают активную кампанию по рекламе своих мест. Поэтому все больше людей обнаруживают, что сами живут в туристическом месте и теперь желают – кто вынужденно, кто осознанно – воспользоваться его благами.

Европейская курортная индустрия глобализируется, равняясь на передовиков. Она пытается конкурировать даже в таких, казалось бы, безнадежных для нее областях, как сексуальный туризм, – разумеется, только в феминистски-политкорректных его проявлениях. Пока мужчины совершают дальние туры по линии Eldorador Aphrodite (Таиланд, Куба…) по следам героев «Платформы» Мишеля Уэльбека (2001), женщин ожидают Greek или Italian lovers, и не только на керамике или фресках. Недавно даже швейцарская туриндустрия, исчерпав, видимо, ресурс шоколада и сыра, решила привлечь внимание туристок к широким плечам и доброму нраву местных ковбоев.

Сдвинувшись вместе с обществом в постмодерн, туризм стал одним из его принципиальных топосов. Прежние точки отсчета туристского опыта – слова «у нас», «у себя», «дома» – утратили прежнюю определенность. Понятие своей страны потеряло свою однозначность, незыблемость. Есть фанатики Непала или Гватемалы, которые читают и знают об этих странах гораздо больше, чем о стране, гражданами которой являются или в которой работают или проживают большую часть года. Само понятие туризма в каком-то смысле устарело, ибо оно противостоит уже не неподвижному миру, а миру чрезвычайно мобильному. Туризм теперь – последнее средство вернуть дому, быту, очагу, обиходу их прежний спокойный и надежный смысл. Жизнь становится такой непредсказуемой и рискованной, что, еще более умножая эти ее черты в поездке, турист пытается придать своей «обычной» жизни иллюзию упорядоченности. Неслучайно групповой туризм, несмотря на весь сарказм в его адрес, не вымирает. Туристская группа добавляет к мнимым и действительным опасностям путешествия пикантный риск оказаться включенным в группу, гораздо более гетерогенную, чем обычное сообщество друзей, знакомых, коллег, соседей, встретиться с людьми, с которыми в обычной жизни не пересекаешься.

Пространственная мобильность сливается с социальной. Во время отпуска турист не только пересекает страны, но и покидает свою социальную нишу, становится королем, которого, как известно, играет свита: таксисты, стюардессы, портье, горничные, повара, официанты, гиды… Так и человек постмодерна, бросая вызов вековечной обреченности людей на жребий своего рождения, за свою все более долгую жизнь пересекает все более

многочисленные поприща, профессии, социальные классы и категории, субъективные позиции и инстанции.

На прощание напрашивается небольшая философско-социологическая гипотеза. Подумаем о тех, кому посчастливилось не только пожить в XX веке, но и прожить его более или менее весь, хотя бы в усеченной хронологии Эрика Хобсбома – 1914–1991. Мне кажется, что именно этим людям впервые в истории человечества представилась возможность (если не необходимость) прожить жизнь по особой формуле, которая, может быть, станет тривиальной для их потомков. Если прежние поколения рождались и умирали, оставаясь сущностно теми же, то это поколение впервые изведало, испробовало за одну человеческую жизнь целый ряд различных способов индивидуации, принципиально не сводимых к возрастным переменам. Человек этого поколения мог родиться телом, наделенным душой, в детстве осознать себя подобием божьим, в юности стать субъектом, затем пройти через психоаналитические топики, экзистенциалистскую негативность, побывать в шкуре Dasein, чтобы потом, под занавес, оказаться, скажем, интенсивностью или множественностью. Иначе говоря, если прежние поколения могли идти по дороге жизни, нанизывая разнообразные впечатления на одну и ту же личностную ось, то отныне и, может быть, во веки веков по дороге будет перемещаться некий Протей, некий онтологический турист, разные аватары которого будут перетекать друг в друга, забывая о предыдущих фазах, не опознавая себя в смутных воспоминаниях о впечатлениях, как нам случается путать пляжные фотографии разных каникул.

Сменяющая индустриальную курортная эпоха будет, как и любая другая, невечной. Что придет ей на смену? История покажет.

Интересно, что в выражениях «история покажет», «история рассудит» слово «история» понимается, как ни странно, в смысле «будущее». А надо бы буквально: мы сейчас, сегодня, всегда предстаем перед судом прошлого, и будущее тоже этого суда не избежит. Европеец остается «археолатром» – ностальгическим поклонником и искателем истока, который он возводит в кумира и миф о котором незаметно и неизменно включает в свою генеалогию и биографию. Подобно ангелу истории, европеец путешествует по Европе, глядя назад, ища там одобрение и порицание, пытаясь вычитывать в прошлом «перечень причин» взлета и падения своей цивилизации. Путешествие по Европе завтра еще больше, чем сегодня, будет сентиментальной прогулкой, прощанием с Европой, которую он знал, – полетом во

сне и наяву, на самолете или верхом на ангеле истории, по местам боев с самим собой, по руинам планов на жизнь и реконструкциям воздушных замков, по произведениям архитекторов и поэтов, по следам миллионов других туристов.

Наша беглая экскурсия по курорту Европа подходит к концу. Вы устали от гида, он – от вас. Удачного вам шопинга! Последняя информация для маньяков аутентичности: лавочки амулетов и сувениров для паломников находились в эллинистическую эпоху прямо за пропилеями. Сейчас они перемещены в городские кварталы, где раньше располагались мастерские, эти сувениры производившие. Где теперь производятся сувениры? Фабрики вынесены в загородную промзону, ну и в Китай, конечно. Кто сказал «подделки подделок»? Эти сувениры – ваши, поэтому аутентичные.